

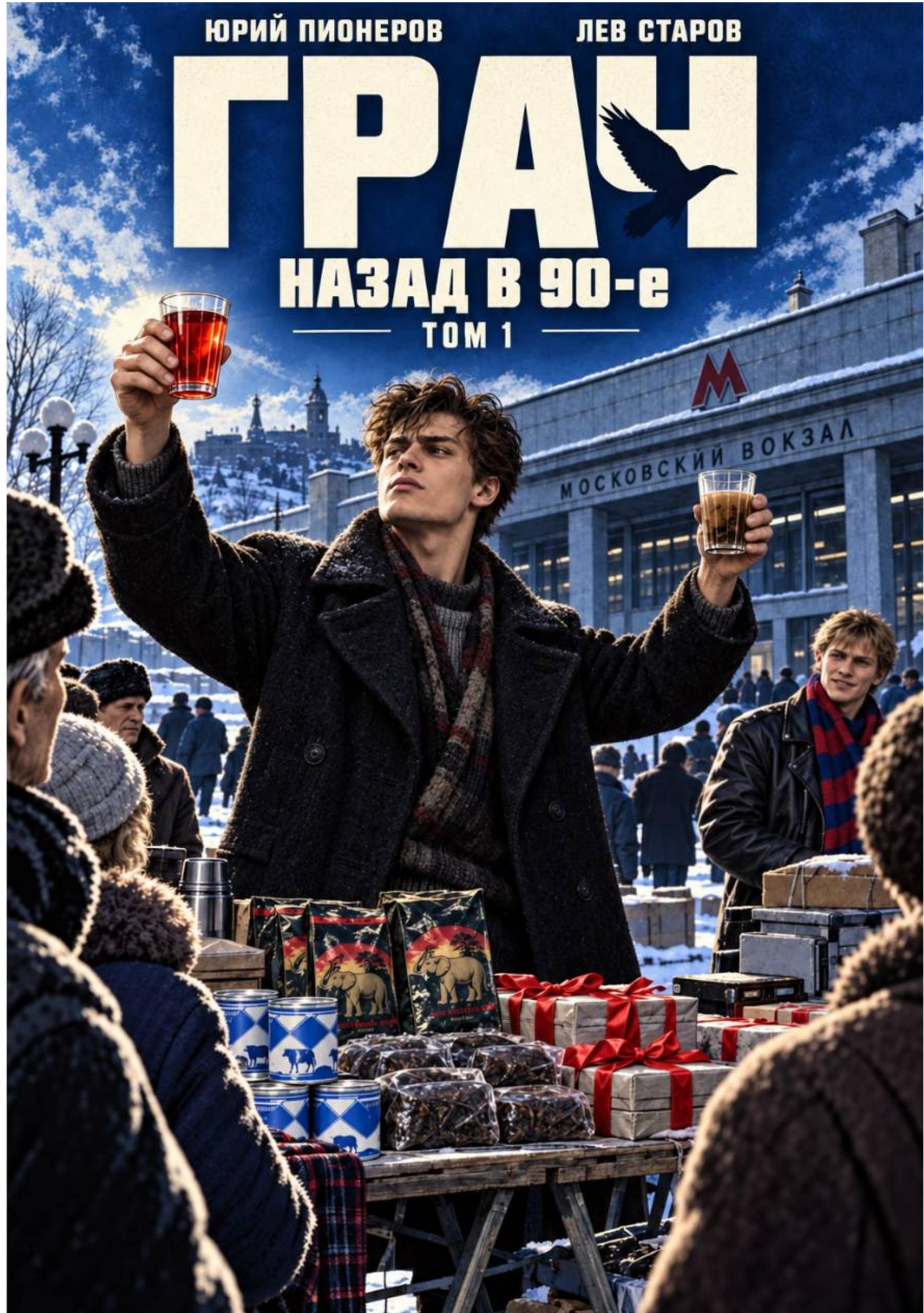
ЮРИЙ ПИОНЕРОВ

ЛЕВ СТАРОВ

ГРАЧ

НАЗАД В 90-е

ТОМ 1



Грач. Назад в 90е

Юрий Пионеров

Грач. Назад в 90е Том 1

«Автор»

«Автор»

2026

Пионеров Ю.

Грач. Назад в 90е Том 1 / Ю. Пионеров — «Автор», «Автор»,
2026 — (Грач. Назад в 90е)

В день своего пятидесятилетия Данила Грачёв отдал за кекс последнюю мелочь: его торговую империю забрали люди, которым он доверял. А утром он проснулся двадцатилетним. На кухне мать печёт пирожки, отец бережёт девять тысяч на «Жигули», за окном — ноябрь 1991-го. Через пятьдесят два дня эти деньги почти ничего не будут стоить. Данила знает, что случится с ценами. Но знание не купишь в магазине и не предъявишь вместо денег. Есть дембельские триста рублей, голодный друг Бугай с плечами грузчика и сестрёнка, которая требует расписку даже за четырнадцать рублей. Есть ещё отец: он лучше доверит сыну сварочный аппарат, чем семейные сбережения. За несколько недель Даниле нужно превратить эту горсть рублей в дело, которому поверит отец. И сделать это на рынке, где каждый удачный товар замечают быстрее, чем успеваешь пересчитать выручку. Успеет ли Грач занять своё место — прежде чем его займут другие?

© Пионеров Ю., 2026

© Автор, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	20
Глава 5	24
Глава 6	28
Глава 7	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Грач. Назад в 90е Том 1

Глава 1

Кассирша провела карту повторно и повернула ко мне экран терминала.

— Заблокирована, мужчина. — Она ткнула ногтем в зелёную надпись, сопнула и заслонила терминал от меня.

— Проведите снова, — попросил я, прижимая свёрток к груди и подаваясь вперёд. — Она у меня с характером. Вдруг на третьей попытке передумает.

— Я её больше в терминал совать не буду. — Кассирша щёлкнула по экрану зелёным ногтем с блёстками, как по лбу бестолкового посетителя, и скривила рот. — Тут «отказ». Читать умеете?

— Дед, ты скоро? — Таксист перекладывал банку энергетика и поёживался в куртке. — У нас пересменка, а ты тут до утра возиться будешь?

— Минуту, — ответил я, не оборачиваясь, и сунул карту в кошелёк. — Человек именник.

— Какой человек? — Таксист сунул энергетик за пазуху, скривился и подался ко мне.

— Тот, кого вы дедом назвали. — Я приподнял кекс и повернул к таксисту. — Самый дешёвый, с изюмом, себе на праздник беру, а карточка отказывает. Размах, сами видите, царский.

Другой таксист хмыкнул и увлёкся телефоном. Дедом здесь называли меня. Мне исполнилось пятьдесят пять, десятое ноября две тысячи двадцать шестого года, вторник, половина десятого вечера, заправка на выезде из Сормова, триста метров до родительского гаража.

Неделю назад сеть «Грачёвский», сто сорок магазинов от Нижнего до Казани, которую я строил три десятилетия, досталась Вадиму Лисовскому. К нему переметнулась и моя жена Жанна вместе со своими подписями, доверенностями и моими ключами от сейфа. Счета заморозили до окончания проверки, машину изъяли по лизингу, квартиру продал сам, чтобы закрыть поручительство, которое тоже подписала Жанна. Вадим позвонил мне в субботу.

— Даня, ну ты же сам понимаешь, — бормотал Вадим сочувственным голосом и щёлкнул зажигалкой на том конце провода. — Бизнес. Я ж тебе как брату, ты меня знаешь. Я раньше всех позвонил, не через юристов, не через Жанну. Сам. Слышишь? Сам!

— Жанну позови, — отрезал я и уставился в стену, прижав трубку к уху.

— Жанна занята. Она, ну... — Вадим шумно засопел, пошелестел бумагами и, понизив голос, продолжил: — Ты же понимаешь, Даня. Ты всё понимаешь, ты у нас умный. Давай без эмоций, давай как партнёры. Бывшие, но партнёры. Наутро пришлю тебе человека, он всё объяснит по пунктам, а ты подпишешь, и мы разойдёмся людьми.

Вадим умел продать одну пару джинсов троим клиентам и каждому внушить, что ему сделали скидку. Повесил трубку, не дослушав про пункты.

Положил кекс на прилавок, повернул его этикеткой к покупателю, как делал три десятилетия подряд, и вышел.

Гараж стоял в том же ряду, что и в моём детстве, только отстроенный заново: кирпич светлее, ворота другие. Старые сгорели в марте девяносто пятого вместе с отцом. Внутри стояли верстак из отцовских досок, раскладушка, газовая плитка на баллоне и банка из-под огурцов с гвоздями и шурупами. Банку он завёл ещё при Брежневе и кидал в неё копейки «на счастье». Я нашёл её после пожара в золе, закопчённую и целую, и поставил на верстак. Когда в двухтысячных пошли новые десятирублёвые монеты, я бросал в неё их по одной, на отцово счастье.

Высыпал содержимое на доски. Между гвоздями и шурупами лежали гайки, скрепка, пуговица от чьего-то пальто и жёлтые десятки. Выковыривал их пальцами, дул на каждую и клал на ладонь. Девять. Десятая закатилась под тиски, и достал её отвёрткой. Сто рублей ровно.

Кекс стоил девяносто восемь.

Без двадцати одиннадцать вечера я вернулся на заправку. Таксисты уехали. Она пересчитала монеты, сдвигая их ногтем по одной, и посмотрела на меня уже иначе, с любопытством.

— Ну и сколько же вам стукнуло, именинник? — Она оперлась локтями на прилавок и улыбнулась.

— Пятьдесят пять, — я выпрямился во весь рост и усмехнулся в шарф, показывая, что не скрываю.

— Ой. — Она порылась под прилавком, вытащила свечку-цифру, синюю пятёрку с остатками праздничной фольги, и положила на кекс. — Дарю. Пятёрка одна осталась, остальные цифры разобрали.

— Пятёрка мне как раз. — Постучал пальцем по свечке и проговорил: — Вторую цифру знаю.

— Ну хоть загадайте что-нибудь приличное, — крикнула она мне в спину, звякнув мелочью в кассе. — А то все про деньги загадывают.

Кекс я нёс в кармане пальто, как пирожок из школьного буфета, и придерживал рукой, чтобы не помять.

В одиннадцать поставил его возле банки, воткнул свечку и зажёл от газовой плитки. Из-под ворот тянуло, огонёк клонился к стене, распрямлялся и клонился снова. Я следил за ним и вспоминал отца: вот он у тисков, в телогрейке на майку, и говорил мне, двадцатилетнему:

— Иди в сварщики, Данила. Руками кормиться надёжно, а языком как повезёт. — Он закрутил тиски и сдул с них стружку.

— Батя, я торгаш, — отвечал я и ржал.

— Верните мне девяносто первый, — произнёс я вслух, как ему, и упёрся ладонями в верстачный обод, не касаясь свечи. Другого слушателя у меня не было.

И дунул.

Пахло тестом и жареным луком.

Открыл глаза. Надо мной висел потолок в жёлтых подтёках, с трещиной, похожей на Волгу у Сормова; её очертания впечатались намертво, глядел на неё каждое утро с первого класса до армии. Слева было окно с голубой рамой, форточка на зиму заклеена полосками газеты. Под щекой колот плед. Подо мной был кухонный диван.

Распрямился — и сам себе не поверил: легко, как в юности! Справа от позвоночника больше не торчала железная спица, мучившая меня десятилетие. Хоть в бараний рог скручивайся — ни прострела, ни привычного хруста. Изучил свои руки: молодая кожа, без пятен, костяшки сбиты ящиками, которые ещё недавно таскал в части. На табуретке у дивана — мой армейский бушлат без погон.

У плиты возилась мать.

Она носила косу вокруг головы и халат в мелкий цветок, а на локтях у неё белела мука. Она раскатывала тесто скалкой отца, которую он выточил ей в цеху, и напевала что-то из Пугачёвой. На полке над плитой стояла банка с мукой, рядом солонка в виде грибка. В сковороде шипел лук с яйцом.

Горло свело так, что не смог сглотнуть. Она умерла в две тысячи девятом, в больнице, которой я прежде купил томограф. Сейчас возилась у плиты, не замечая меня: живая, сорока-трёхлетняя, полная. От неё пахло тестом. До неё можно было дотронуться.

Добрался до отрывного календаря над плитой. «10 ноября 1991 года. Воскресенье. День советской милиции». Под датой мелким шрифтом — восход, заход и долгота светлого времени суток. Сорвал сегодняшний листок, хотя ещё рано, смял и принялся перелистывать календарь

далее: ноябрь — двадцать, декабрь — тридцать один. До второго января — пятьдесят два дня.

Второго января отпустят цены. Всё, что лежит в магазинах, подорожает за одну ночь, всё, что лежит на сберкнижках, превратится в бумагу. У бати на книжке лежали девять с чем-то тысяч «на Жигули». Одиннадцать лет он откладывал их из каждой получки и сидел над книжкой по воскресеньям, как над Библией. К весне эти сбережения стоили трёх пар сапог. Он тогда месяц ни с кем не разговаривал, ни с ней, ни со мной, ни с соседями за домино: приходил со смены, садился в зале и смотрел в выключенный телевизор.

А я в первой жизни пошёл учеником сварщика на верфь, потому что она сказала.

— Проснулся, именинник, — бросила она, не оборачиваясь: как всегда, почувала меня, хотя продолжала раскатывать тесто, даже скалка не сбилась. — Завтра к восьми в отдел кадров верфи. С Семёновым улажено, тебя возьмут учеником сварщика, потом к отцу на участок. С армии вернулся — с дивана не встаёшь. Парню двадцать, а он лежит!

Вот оно, слово в слово. В прошлый раз я ответил «ладно» и подчинился.

Отец договорился, значит, сходил к Семёнову, начальнику отдела кадров, с которым заседал в одном профкоме, и сказал: «Мой-то оболтус созрел». Если откажусь, он окажется трепачом перед Семёновым, и за это будет молчать со мной неделю.

Подкрался сзади и обнял её за плечи. С тринадцати избегал этого, стеснялся. Она замерла со скалкой. Я припал к ней и постарался не всхлипнуть.

— Данила, ты чего? Ты заболел? — Она пощупала мой лоб тыльной стороной кисти и тревожно цокнула. На коже отпечаталась мука. — Горячий вроде. Ой, господи, именинник, а он заболел!

— Здоров, мам. Дай мне пару месяцев. До февраля. Сама увидишь зачем. — Не разжал объятий; потёрся щекой о цветастую ткань и замер, слушая, как она сопит.

— Пару месяцев, — повторила она, отложила скалку на край стола и вытерла руки о халат. — На что тебе столько? Папа Семёнову слово дал!

— На дело. — Я осторожно стряхнул с неё муку и пригнулся ближе, чтобы объясняться негромко, почти шёпотом.

— Какое ещё дело? — Она повернулась ко мне, предъявила только что слепленный пирожок, ещё сырой, с плетёным защипом. — Ты мне скажи, это законно вообще?

— Я не грабить иду, мам. Торговать. — Чуть притянул её к себе и покачался вместе с ней, совсем как маленький, которого не гонят прочь.

— Торговать, — выдохнула она и осела на табуретку. — Ой, господи. Он узнает, из дома выставит. Он же на торгашей смотрит как на...

— Знаю как. — Прикусил губу и согнулся вслед за ней, по-прежнему не размыкая объятий.

— Ну и? — Она беспокойно заёрзала, поправила скомкавшийся халат у груди. Растерялась: сын обнимал её впервые с тринадцати и просил о чём-то, чего она не понимала. Это было заметно даже по тому, как осторожно она берегла сырой пирожок: лишь бы не раздавить.

— Ну и сам с ним объяснюсь. — Я отпустил её и попятился к кухонному дивану, давая наконец заняться выпечкой.

— Сам объяснишься, — согласилась она, приподнялась и уложила пирожок на противень. — Сегодня. А сейчас умойся и садись, сырники остынут.

Значит, разговор с ним сегодня.

В полдень под окнами застучало домино.

Доминошный стол стоял под тополем у второго подъезда, знакомый с детства: толстые доски, жестяная обивка по краю, четыре лавки. Снег смахнули рукавом; на морозе, в минус пять, особенно звонко щёлкали чёрные прямоугольники. Зимнее солнце зацепилось за соседний дом, тень тополя перечеркнула двор. Батя сидел в телогрейке поверх свитера, с седыми

усами щёткой. Кисти красные от холода, в мелких точках ожогов от сварки, даже в праздник не смоешь. Против него Лёва Жуков с первого этажа, товарищ по этим посиделкам уже три десятилетия, в неизменной кроличьей ушанке. Дополняли компанию мужики из дома напротив. Лица обоих сохранились в памяти, имён уже не было.

— Рыба! — Лёва треснул костяшкой по жести, привстал и победно замахал свободной рукой.

— Какая тебе рыба? — фыркнул батя, подвигая к себе фишки пальцами, и не поднял глаз. — У меня шестёрка на руках. Ты куда смотришь, Лёва, у тебя глаза на затылке?

— У тебя дубль зажат, Паша, я же вижу. — Лёва сдвинул ушанку на лоб и наклонился, разглядывая его руку.

— Я его держу до конца, и правильно делаю. Допуск должен быть у человека. — Отец пригладил усы ладонью, подтянул телогрейку и хлопнул фишкой по доске.

Я подошёл к игравшим мужикам. Он поднял голову и снова опустил взгляд на столешницу. Мне нужна была точная сумма: весь мой расчёт шёл от цифры.

— Книжка на «Жигули» жива? — Опёрся локтем на край, не касаясь фишек, и спросил негромко.

— Ишь. — Он буркнул, подгрёб к себе дубль и придавил его, словно я за ним и явился. — Армейский спекулянт проснулся. К моему добру прицениваешься?

Соседи хмыкнули. Лёва стянул ушанку на затылок и подмигнул мне.

— Паша, у тебя ж на «Жигули» лежит. Покажи сыну книжку, пусть облизнётся. — Лёва подсел к нему и насмешливо выпятил живот, изображая богатого хозяина.

— Девять тысяч четыреста. — Он перебрал свои костяшки в ладони и накрыл их второй ладонью. — И не твоего ума дело.

Обращался он к Лёве, а буравил меня. Сейчас, при свидетелях, тему запечатывали наглухо. Начни спорить — проиграю публично, а завтра все во дворе будут судачить, что Грачёв-младший нацелился на семейные накопления.

Повторил про себя: девять тысяч четыреста.

Лёва проиграл партию, крикнул, wygrеб костяшки и отлучился разминать ноги. Освободившееся место занял я. Отец посмотрел на меня с такой обидой, будто я примостился у него на коленях.

— Играть-то умеешь, армия? — Он подбросил фишку, поймал её и прищурился.

— Сейчас покажу. — Я пододвинул к себе горку костяшек и перебрал их.

— Ты покажи, а я посмотрю. Руками надо работать, а не языком. Ходи. — Он проговорил это, откинувшись назад, стукнул по краю жести и мотнул головой на доску.

Костяшки были холодные и гладкие, чёрные с белыми точками. Я держал их и помнил каждого за этим столом, и отцовскую привычку держать дубль до последнего, чтобы закрыть конец. Мужик с золотым зубом считал очки губами, и по губам было видно, сколько у него осталось. Второй, в очках, ходил с той масти, которую ему только что подкинули, от жадности. Я играл тридцать пять лет, а для них прошёл один день.

Через десять минут поставил шестёрку-пусто на правый конец, и ходить стало некому.

— Рыба. — Я обвёл компанию взглядом и отклонился, освобождая всем обзор. — Считаю.

— Как рыба? — Отец вскинул голову, откинул телогрейку на груди и переспросил: — У меня же шестёрка была!

— Была. Она у тебя осталась, вот и прибавляй её себе в очки. — Я сгрудил свою кучку и указал на запертый дубль.

Считали вслух. Он считал медленно, перебирая домино. Я своих не считал, знал сумму. У меня выходило меньше всех. Я сгрёб все фишки в кучу посреди стола и заговорил так, чтобы слышали все трое и Лёва за спиной:

— Про книжку поговорим, когда я свои деньги на стол положу. — Отпустил фишки, откинулся назад.

Лёва присвистнул и сдвинул ушанку на самый затылок. Тот, что с золотым зубом, стукнул костяшкой по столу, как ставят печать.

— Во даёт! Паша, он тебя на слабо берёт! — Мужик с золотым зубом захохотал и ткнул в меня пальцем.

— Не на слабо. — Я придвинулся к нему и сбавил голос. — На цифру. Батя, скажи, сколько лет ты копишь.

Глава 2

— Я тебе скажу, — начал он, осёкся и медленно сомкнул рот.

Не засмеялся. Изучал сына дольше, чем полагается во время игры. Под усами ходили желваки: слова уже были готовы, требовалось решить, какие произнести вслух. Насмешка пропала.

— Положи, — проронил он и припечатал ладонь к потёртой поверхности.

Затем коротко кивнул — так принимал работу у мастера другого участка.

Кроме книжки, дома имелись мои триста дембельских: связка трёшек и пятёрок под аптечной резинкой, во внутреннем кармане бушлата. За стеклом серванта — хозяйственный конверт. Мать могла назвать его содержимое до копейки, туда соваться нельзя. Зато у Машки в комнате, на столе у окна, красовалась копилка-свинья: белый фаянс, розовые уши, ни одного подозрения насчёт родного брата.

Выдернул резиновую затычку из донышка. На кровать посыпались двадцатики, пятнацатики, гривенники, медь и две мятые трёшки, свёрнутые трубочкой под узкую щель. Распределил добычу кучками по достоинству. Четырнадцать рублей ровно.

— Грабёж среди бела дня. — Машка возникла в коридоре, упёрла кулаки в бока и грозно заслонила выход.

Двенадцать лет, две косы разной длины: одну в прошлом месяце подожгла об газ. Щербинка между передними зубами — через неё сестра свистела громче всех дворовых мальчишек.

— Вклад. — Ссыпал мелочь в горсть, позвенел ею и возразил: — Беру у тебя четырнадцать в оборот. Отдаю вдесятеро.

— Какая ещё затея? — Машка нависла над добычей, вытянулась на цыпочки, чтобы выяснить, всю ли её казну я присвоил.

— Торговое. Пока тебе знать рано. — Сжал мелочь в кулаке и качнул головой.

— Маме скажу, что ты мою свинью распотрошил. — Машка подалась вперёд, ткнула в мою горсть.

— Скажи. — Я подбросил мелочь, будто показывая фокус, поймал и высыпал на покрывало. — Получишь свои четырнадцать и ни копейки сверху.

Она прищурилась. Это мой прищур, я видел его в зеркале с пятнадцати. Губы шевельнулись: четырнадцать вдесятеро.

— Сто сорок. — Загнула палец, покосилась на свинью на покрывале. — И бумажку, чтобы не отвертелся.

— С распиской. — Я шагнул к столу, нашёл шариковую ручку и положил перед собой.

— По-взрослому. С печатью. Как у папы на работе. — Машка подошла следом, разгладила на столе фантик и ткнула в его угол.

Всё моё хозяйство тогда состояло из трёхсот рублей, бушлата и головы, в которой лежал весь мой опыт из будущего. Печати среди имущества не было. Пришлось выкручиваться. В ванной с полки извлёк «Шипр», отцовский, который он берёт по праздникам, и вытащил пластмассовую пробку с рифлёным торцом. Тут же — мамина губная помада, морковная, в золотистом тюбике, почти стёртая. Мазнул ею по рифлению.

— Помада мамина! — Машка метнулась к ванной, забарабанила по двери и возмутилась: — Она тебя убьёт!

— Ей эту помаду давно пора менять, я оказываю услугу. — Повернул тюбик к свету и оглядел красный торец пробки.

— А «Шипр»? — Сестра заглянула из коридора, сморщила нос и шумно принялась.

— «Шипр» цел. Пробка не считается. — Поставил флакон на полку, но оставил пробку в руке.

— Считается! Ты отцу скажешь? — Машка вцепилась в косяк, тряхнула короткой косой и стиснула зубы.

— Скажу, когда верну пробку на место. — Я вышел из ванной, пронёс рифлёную печать торцом вверх до её комнаты и вернулся к столу.

На столе у Машки валялись фантики, она их собирала. Взял «Мишку на Севере» с белым медведем на льдине, разгладил ногтем и на белой изнанке написал шариковой ручкой: «Взял у Марии Павловны 14 р. Вернуть вдесятеро. Д. Грачёв». В правом нижнем углу прижал окрашенный торец. Оттиск вышел круглый, красный, рифлёный по краю, настоящая печать.

Она взяла расписку двумя пальцами и поднесла к окну. Читала долго. Потом подняла на меня глаза поверх бумажки.

— А проценты за время? — Машка прижала расписку к стеклу, посмотрела сквозь неё на свет и нахмурилась. — Если ты год тянуть будешь, мне что, так и ждать?

Я чуть не хмыкнул, но она смотрела на меня поверх расписки так серьёзно, что я прикусил язык.

— Проценты за время берут, когда срок длинный. Давай срок короткий. — Я постучал костяшкой по кромке стола и убрал руку.

— Короткий — это какой? — Машка покачала распиской передо мной и посмотрела поверх неё.

— Вдесятеро за всё, и срок до завтрашнего вечера. — Загнул палец и дотронулся до красного оттиска.

Она уставилась на меня, и губы снова зашевелились: всего к завтрашнему вечеру, столько денег, завтра.

— А мои четырнадцать вернёшь, если дело не получится? — Она нахмурилась и тревожно ощупала кофту у груди.

— Твои деньги верну. Без процентов за время. — Собрал с покрывала мелочь и пересчитал: не затерялось ли чего в складках.

— Идёт. Только попробуй забыть. — Она кивнула и грозно притопнула.

Она спрятала расписку в карман кофты и прижала его. Я ссыпал её вклад в карман бушлата отдельно от дембельских. Потом она постучала по карману, где хранилась бумажка.

— Вечером у подъезда. Опоздаешь — будет тебе «проценты». — Она отступила от меня, приблизилась к опустошённой хрюшке и присела возле неё.

Девочка с одной обгоревшей косой назначила мне срок. Закончив беседу, поставила копилку-свинью обратно на стол у окна, дырой вниз.

Мне нужны были напарник и капитал. Одному мне не унести всю партию сапог, а трёхсот не хватало на весь товар даже по той цене, по которой, по моим прикидкам, Римма могла его отпустить. Количество коробок помнил ещё из первой жизни.

Вспомнил Толика Бугаева, армейского друга: два года вместе служили в одной роте под Мулином. Вымахал он на два метра и был добрый — с такой добротой, с какой в нашей роте не знали, что делать. Жил в Арзамасе, а у его родителей за домом стояли сорок клеток с кроликами. Я решил занять у Толяна: с кроликов можно было выручить наличные.

Надел бушлат и пошёл к автомату у гастронома. У соседей Бугаевых в Арзамасе был телефон, номер знал, потому что в первой жизни звонил по нему в девяносто четвёртом, когда Толян женился.

Переступил порог подъезда — и застыл.

На лавке, напротив площадки для домино, сидел Бугай. Солдатская шапка, розовые от холода уши, пятнистая шинель без погон на плечах, вещмешок у ног. На коленях — жестянка из-под кильки. Он обхватил её и изучал пустое донышко.

Толян поднял голову, увидел меня и встал. Сначала поднялись колени, потом разогнулась спина, потом он выпрямился весь, как подъёмный кран. Забыл, какой он большой.

— Даня! — Бугай шагнул навстречу, раскрыл объятия и рывкнул на весь двор.

Бугай обнял меня. Рёбра хрустнули, все по очереди, сверху вниз. Подбородок вжался мне в макушку, и запахло шинельным сукном, промёрзшим на ветру.

— Я к тебе, — Толян прижал меня крепче, наклонил голову и прогудел мне в ухо. — Выручай.

— Толян, пусти, я дышать хочу! — Молотил кулаками по его спине, как по броне, попытался вывернуться и засмеялся.

Бугай разомкнул хватку. Я отпрянул, окинул его целиком и уже не смеялся. Серое лицо, торчащие скулы. В части-то у него были щёки.

— Ты откуда? — Я перевёл дыхание и поправил сбитый бушлат.

— С Арзамаса. Утренним автобусом. — Толян уселся обратно, аж дерево скрипнуло; удобно зажал жестянку и зацепился за ободок. — У бати завод встал, в сентябре ещё. Кроликов летом мор выкосил, всех до одного. Мамка в больнице. Трое суток хлеб с водой ем. Думаю: к Грачу, у Грача голова. Займи, а? Рублей пятьдесят. Я отдам.

— А сколько у тебя сейчас? — Присел я на корточки, заглянув в жестянку, и тронул отворот его шинели.

Он вывернул карман. На ладони лежало восемнадцать копеек медью.

Я примостился возле него. Кредитор из Бугая не получался: голодный, без гроша. Приютить — лишний рот в двухкомнатной хрущёвке, где мать кормит четверых с одной зарплаты повара и одной мастера. Спровадить в Арзамас — тоже нельзя. Только предложи, и он ответит: «Ну ладно, Даня», поплетётся на автобус. С него станется.

Глянул на его плечи. Шинель висела на них, как брезент на «Запорожце».

— Вот что, Толян. Занимать не будем, будем зарабатывать. Вдвоём. Твои плечи, мои триста дембельских. — Я повернулся к Бугаю и хлопнул его по колену.

Толян глядел на меня. Потом медленно расплылся в широченной улыбке.

— Годится. — Бугай подышал на пальцы, разминая их. — А чего делать?

— Сапоги брать. — Ответил я, постучав по лавке между нами и взглянув на его вещмешок.

— Какие сапоги? — Он придвинулся поближе, упёрся локтями в колени и замер.

— Польские. На меху. — Я подался вперёд, понизив голос. — Сорок пар, у директорши Сормовского универмага, Риммы Павловны, в полуподвале на складе. В сентябре их списали на пересортицу: кладовщик напутал при приёмке, и у половины размер на коробке не совпадает с размером внутри. Лежат с тех пор, ждут ревизии или мыши. Я их куплю за свои деньги, если окажусь у Риммы сейчас, пока она не придумала, куда их деть.

— Директорша? — Толян уставился на меня, как на контуженного, и почесал затылок через шапку. — Даня, да она нас с порога выставит. Там собака, там сторож, там вахта. Кто мы? Дембеля в шинелях.

— Семь раз отрежь, один отмерь, Даня, — Бугай засопел, принялся тереть собственные мозоли, словно и сам поражался своей мудрости. — А ты хочешь сразу отрезать директоршу.

— Отмерить, Толян. Семь раз отмерь, один отрежь. — Я хлопнул его по плечу, поправил воротник и усмехнулся.

— Вот я и говорю. Значит, зайдём чёрным ходом? — Он встал, подхватил мешок и, разворачиваясь к дороге, спросил.

— А собака? — Он перехватил мешок поудобнее и огляделся.

— Собака Пальма. С ней договоримся. — Я опустил руку к карману бушлата и нащупал монеты, но вынимать не стал.

— Как? — спросил Бугай, притоптывая на морозе и кутаясь в воротник.

— Через сторожа. Его зовут Иваныч, он берёт «Беломор». — Я загнул палец и кивнул на угол Коминтерна.

К Римме Павловне Згурской двое пацанов с улицы с парадного хода не попадут: до кабинета их не пустит ни вахтёрша, ни секретарша, ни сама Римма. Закрыл глаза и увидел двор магазина: будку сторожа, рыжую собаку на цепи, старика, у которого одно ухо на шапке всегда торчит вверх. В восемьдесят девятом, до осеннего призыва, бегал к Римме с чёрного хода за джинсами для одноклассников, меня туда провёл кто-то из знакомых, и я всегда приносил Иванычу пачку «Беломора». За «Беломор» он открывал дверь к складу и отворачивался.

— Пошли, — сказал я и первым шагнул от лавки.

— Куда? — Он догнал меня в пару шагов и зашагал рядом.

— За пропуском. — Я указал на синий киоск у перекрёстка и ускорился, согреваясь на морозе.

На углу Коминтерна синел «Союзпечать» с облупленной табличкой. За стеклом теснились газеты, открытки с Ельциным, спички и сигареты. Киоскёрша в пуховом платке извлекла из-под прилавка пачку «Беломорканала» и объявила цену с переплатой.

— С переплатой? — Повертел пачку в пальцах, принялся к обёртке. — Вы меня обижаете. Пачка мятая.

— Не хочешь, не бери. Табака по городу нет, эта последняя. — Киоскёрша дёрнула платок под подбородком, хлопнула по кассе и отвернулась к газетам.

Я заплатил. Пачка была мятая, серо-голубая, с картой канала. Я положил её в карман бушлата рядом с Машкиными четырнадцатью рублями.

— Это чего, пропуск? — Бугай повёл носом и прищурился.

— Ключ. — Я похлопал по спрятанным папиросам и отступил от окошка. — Завтра подъём в шесть, Толян. В восемь без четверти мы у чёрного хода универсама.

— В шесть? — Он подхватил мешок обеими руками и приподнял, примеряясь к плечу. — Я же только из Арзамаса.

— В армии в шесть вставал? — Подтолкнул его плечом, кивнул на дорогу и усмехнулся.

— В шесть, — вздохнул Бугай, перекинул мешок на плечо и поёжился. — Только там кормили.

Глава 3

Весь день Бугай ел.

Он ел пироги с луком и яйцом, с капустой, пироги с повидлом. Мать сначала угощала его с радостью, как всякого голодного, потом с тревогой, потом с молчаливым ужасом.

— Ешь, Толя, ешь, — подложила она ему ещё угощение с луком и, покачав головой, проговорила: — Ой, господи, куда в него лезет.

— Спасибо, тётя Валя, — отхлебнул из чашки и поблагодарил: — Я со вчера не ел.

— Ты со вчера? Да ты, родной, со вчерашнего дня не ел, а сегодня с утра! — пододвинула она к нему полную тарелку и выдохнула.

— С утра автобус, тётя Валя. В автобусе не кормят, — откусил от капустного и пояснил.

Отец сидел во главе стола, в чистой рубашке ради моего дня рождения, и разглядывал руки Бугая, огромные, с ногтями как лопаты.

— Покажи-ка ладони, — звякнул чайной ложкой о блюдец, подпёр щеку кулаком и не мигал.

Бугай положил на скатерть обе.

— С такими лапищами в кузнецы. Или в литейку. Допуск по росту тебе сразу дадут. Ты чем занимался в Арзамасе? — изучал огромные ногти и заключил.

— Кролики, Павел Семёнович. Я по части кроликов, — оторвал кусок повидлового и доложил.

— Кролики, — повторил с уважением, как повторяют название редкого станка, потянувшись за ложкой. — А что за мор у них был?

— Не знаю. Легли, и всё. Три недели лежали, а я ходил, проверял. Я им сено менял, а они не ели, — вздохнул и взял ещё.

Машка сидела напротив и смотрела на нашего гостя как на аттракцион.

— Толик, а ты из автомата стрелял? — Машка нагнулась вперёд, так что вилка зазвенела о тарелку, и, подавшись к нему, ждала ответа.

— Стрелял. Из калаша. Три раза, — проглотил последний кусок и кивнул.

— Попал? — разломала пирог пополам Машка и уточнила.

— В молоко. Старшина потом сказал: «Бугаев, ты не стрелок, ты таран», — утёрся рукавом и хмыкнул.

— А танк видел? — отламывая себе корочку повидлового, поинтересовалась Машка.

— Видел. Он у нас в части в парке стоял, без гусениц, — дожевал и подтвердил.

— А правда, что в армии бреют налысо? — сдвинула в сторону чашку с чаинками сестра и задала вопрос.

— Правда. Меня в первый день побрили, и ещё раз. Парикмахер сказал, что у меня голова неровная, — почесал гость затылок и признался.

Мать хихикнула в фартук. Отец отправился в зал крутить антенну у «Рекорда» и спорить с телевизором: «Ну что ты мне рассказываешь, Горбач? Руками надо работать, а не языком! Ты мне про сахар скажи, а не про союз!»

— А куда вы с Даней завтра ещё затемно? — Машка надкусила капустный, облизала жирные пальцы и задала вопрос, которого я боялся. — Раз подъём.

— К Канавинскому мосту. На толкучку, — дожевал приятель и буркнул.

Пнул его под скатертью. Бугай подпрыгнул, поморщился и не понял, за что.

Машка уцепила ещё угощение, впилась зубами в румяную корку и замерла лицом к окну с очень внимательным видом.

— На толкучку. Ага, — уронила недоеденный кусок в тарелку сестра и обратилась к форточке.

— Маш, — звякнул я вилкой о край своей тарелки и позвал.

— Я ничего не слышала. Только проценты за молчание тоже бывают, — развернула к себе ещё половинку Машка и проговорила в окно.

Мне исполнилось двадцать. Мама испекла торт «Наполеон», двенадцать коржей, и воткнула в него две свечи, красную и жёлтую, других не нашлось. Я задул обе и загадал одно: чтобы этот стол и эти четверо за ним оставались такими же через год.

К девяти вечера Бугай, накормленный впервые за три дня, устроился на полу кухни у батареи «на минутку», подложил вещмешок под голову и уснул. Ноги в армейских сапогах перегородили кухню от порога до плиты. Мать явилась мыть посуду, споткнулась о сапог и вцепилась в скатерть, чашки звякнули.

— Данила, — она распрямилась, пристроила миску в сушку и повела плечом, будто сбрасывала усталость.

— Да, мам, — перестал ковырять вилкой в тарелке и повернулся к ней.

— Чужой пусть ночует у своих. Кухня шесть метров. Ты на диване. Нам четверым места нет, а пятый у плиты. — Она сунула мочалку под тонкую струю крана, закрутила ручку до шипения и согнала мочалкой воду с раковины.

— Мам, он не чужой. Он мне в армии жизнь спас. Своих у него сейчас нет: мать в больнице, дома холодильник пустой. — Я потеснил табурет, приподнял торчавшее голенище Бугая и отвёл к стене. Зимой восемьдесят девятого Толян выволок меня за шиворот из-под колеса «Урала».

— А мне что делать? Я на пятерых с одной получки не разорвусь. — Она выключила воду, утёрлась краем фартука и уставилась на вещмешок у батареи.

— Я буду за него платить. С первых денег. За еду и за постель, как за квартиранта. — Распрямился, сдвинул чашки в тесный ряд и набросил на них полотенце.

— С каких первых? — Она переступила через его сапог, подцепила ложку со скатерти и опустила её в сушку.

— С завтрашних. — Выдвинул табурет, но не опустился на него, а только придержал коленом, чтобы не скрипнул.

Она посмотрела на меня, потом на гостя. Он во сне улыбался и причмокивал: ему снилась сдоба. Вдохнула, длинно, так, как вздыхала, когда батя являлся с получки без половины получки, и ушла в прихожую; я услышал, как она лезет на антресоль и двигает чемоданы. Вернулась с раскладушкой. Старая, зелёный брезент, алюминиевые трубки, летом на ней спасались на балконе от комнатной жары.

— Раскладывай. И сапоги с негоними, он мне пол исцарапает. — Она зацепила край каркаса носком тапки, навалилась на ткань, и трубка щёлкнула о кафель.

Бугай очнулся от шума, упираясь локтями, моргая.

— Тётя Валя, я не надо, я на полу. В армии на голом спал, ничего. — Помотал головой, прижал вещмешок к груди и зажмурил глаза.

— Вот и отправляйся в свою армию, если на голом хочешь. А здесь человек спит на раскладушке. — Она вправила трубку в гнездо каркаса, навалилась на зелёную ткань и развела раму до упора.

Раскладушка уместилась между столом и дверью впритык, и дверь на кухню теперь закрывалась только наполовину. Мама бросила на неё солдатское одеяло из шкафа и ушла спать, не проронив ни слова. Разул его, он устроился поудобнее, раскладушка ахнула под ним и провисла до самого пола.

— Даня... Спасибо. — Натянул одеяло до самого носа, повернулся на бок и засопел так, что под ним дёрнулась ткань.

— Отдыхай. Ты теперь квартирант. С тебя долг. — Откинулся на спинку дивана, прижал затылок к подушке.

— Какой? — Освободил из-под одеяла нос, шмыгнул и согнул колени к животу.

— После подъёма узнаешь. — Завернулся в плед, повернулся к стене и сомкнул веки, но не спал: прикидывал, сколько банок вместит гараж.

Ключ от бокса висел в прихожей на гвоздике, возле батиных ключей от цеховой раздевалки. Забрал его в одиннадцатом часу, когда батя уже утомился. Приятель спал на кухне, свернувшись; я разбудил его, помог подняться и кивнул на прихожую. Утром была закупка, и до неё нужно было освободить склад. Обулись и двинулись за дом.

Гаражный ряд начинался за нашей хрущёвкой и продолжался вдоль трамвайных путей: сорок кирпичных боксов с железными воротами, крашенными кто во что. Наш был четырёхдцатый, серо-зелёный, с навесным замком. Фонари горели через пять боксов, снег с восьмого числа слежался и скрипел под подошвами. Над путями сияли крупные звёзды, как соль на чёрном хлебе.

Я открыл замок и отвалил створку. Внутри пахло бензином, резиной и старой олифой. Бежевый батин «Запорожец» ЗАЗ-968М упирался носом в стену; краска на задних крыльях облупилась. На полках из уголка теснились банки с краской и гвоздями, подшипники в промасленной бумаге, запасное колесо, а у задней стены находился ящик с инструментом. Над всем этим висела лампочка на проводе.

Я включил её и прикинул глазами. Три на шесть, высота два и четыре. Вагон влезет, если освободить бокс от машины, штабелевать до потолка и протискиваться сбоку в одну ногу.

— Снимаем полки, Толян. Жестянки в угол. — Я добрался до дальней стойки, очистил верхнюю полку от гвоздей, отвёрткой ослабил винты креплений и снял её с кронштейнов.

— А батя твой в курсе? — Помощник перехватил две банки нитрокраски за ободки и понёс к углу, лавируя между моими ботинками.

— Будет в курсе. — Я отцепил вторую доску с кронштейнами, стряхнул с неё пыль и прислонил к кирпичу.

— Когда? — Помощник замер возле запасного колеса и повернулся ко мне всем корпусом.

— Скоро. — Вытерся об штаны, подцепил подшипник в промасленной бумаге у ботинка и водрузил его на запасное колесо.

Через двадцать минут в углу выросла пирамида, и тогда в воротах появился свет.

— Это что? — Отец пришёл в валенках, в стёганой куртке прямо на майку, с фонарём «Летучая мышь» в руке; он вскинул его, посветил на освобождённые стойки, на пирамиду и на Бугая с нитрокраской в каждой руке, как с гантелями. Жена бодрствовала и сообщила, что сын прихватил ключ.

— Барахолку в моём боксе устраиваешь? — Повёл лучом по кирпичу, стукнул носком по нижней жестянке.

— Павел Семёнович, я аккуратен. Каждой жестянке её гнездо запомнил. — Он переминался, тарахтел железом и прижимал его к груди.

— Каждой он гнездо запомнил! Полки я варил сам, в цеху, каждую по уровню. С семьдесят девятого банки стоят как стояли. Кто тебе разрешил? — ослепил меня «Летучей мышью», переступил порог и встал между стеллажом и «Запорожцем», загородив мне дорогу.

Гараж принадлежал отцу. Он строил его в семьдесят девятом, с кооперативом, клал кирпич по выходным, а я таскал ему раствор в ведёрке. «Запорожец» он мыл каждую субботу и накрывал на зиму старым ватным одеялом. Он знал, где какая банка. Поведать правду, «батя, через пятьдесят два дня ты потеряешь книжку, а я хочу забить твой гараж товаром по старой цене», значило услышать смех. Или «иди отдохни».

— Батя. Через неделю увидишь. — Перехватил у друга нитрокраску, водрузил её на пирамиду.

— Что я увижу? — Опустив «Летучую мышь», провёл ладонью по пыльной перекладине; на ней осталась тёмная полоса.

— Дело. Если через неделю тут пусто, верну всё как было. Стеллаж на место, жестянки на место, «Запорожец» обратно. И никогда я его у тебя не попрошу. Никогда. — Подхватил последнюю жестянку, завершил пирамиду и отряхнулся курткой.

Посмотрел на меня, потом на гостя.

— А «Запорожец» куда? — Он качнул «Летучую мышь» и направил её в нишу за машиной.

— К торцу ряда, под брезент. Обметать буду сам каждое утро. — Махнул вдоль боксов и поправил замок на проушине.

— После подъёма, — повторил. Направил луч к носкам обуви, сплюнул и размазал плевок подошвой.

— Каждый раз. — Я кивнул и, согнувшись, проверил крепление нижнего кронштейна.

— А если дождь? — Наклонился к фонарю, поправил фитиль и снова распрямился.

— Укутаю от воды. — Подхватил кусок промасленной бумаги, скомкал его и отправил к инструментам.

— А если снег? Ты мне его откапывать будешь по очереди с этим, с большим? — Вскинул «Летучую мышь», ткнул ею в сторону помощника и сдвинул носком ведро.

— Буду. Мне не трудно. — Мой помощник пробрался внутрь, подхватил ведро и отнёс к запасному колесу, чтобы не мешало.

Павел Семёнович молчал. Фонарь качнулся, по кирпичу поехали тени. Потом он пристроил его на капоте, открыл дверцу «Запорожца». Перенёс фонарь с капота в салон, сел за руль. Машина завелась со второго раза, затарахтела, как швейная машинка в бочке, и выпустила синее облако. Сдал назад, осторожно, по сантиметру, вывернул и покатил вдоль ряда к торцу, туда, где боксы кончались и начиналась площадка у сормовского трамвайного кольца. Там он заглушил мотор, достал из багажника брезент, которым спасал дрова на даче от дождя, и укрыл машину по самые колёса, подоткнув края. Вернулся с «Летучей мышью», остановился у ворот, с ключом на кольце.

— Неделя. Как на спор. Не будет дела, восстановишь всё как было. По уровню. — Снял его с кольца, бросил мне и запахнул куртку на груди.

— По уровню. — Поймал и сжал в кулаке.

— Я проверю. — Зашаркал к дому, глубже запахнул куртку и заскрипел подошвами по насту.

— Даня, а чего будет к сроку? — Бугай приткнул нитрокраску у пирамиды, прислонился к запасному колесу и согрел дыханием оковеневшие костяшки.

— К сроку тут уместится вагон, Толян. — Повёл створку на себя и дождался, пока мой помощник освободит проём.

— Какой вагон? — Он выпрямился, отступил от порога.

— Со сгущёнкой. — Щёлкнул замком и спрятал железку в карман.

Он сглотнул, и мы отправились на ночлег в кухню. Было полдвенадцатого. Под брезентом у торца ряда темнел горбом батин «Запорожец», и на брезенте блестел иней от уличного освещения.

В шесть растолкал Бугая. Раскладушка под ним охнула, он дёрнулся, стукнулся головой о стол и скомандовал:

— Рота, подъём! — Он потёр лоб, спустил ноги на пол и нашарил сапоги.

Мама уже ушла в столовую, отец брился в ванной, скрёб станком по щеке и сопел. На плите стояла кастрюля с остатками вчерашних пирогов под полотенцем. Сунул ему четыре штуки, себе два.

— Куда в такую рань? — Перегнулся через косяк ванной с намыленной щекой, бритвой на отлёте, потом ополоснул лезвие под краном.

— По делам. — Завернул наш завтрак в полотенце, сунул его за пазуху и подтолкнул спутника в коридор.

— Неделя уже тикает. Гараж мой ты ещё не набил. — Ткнул бритвой в мою сторону, стряхнул пену в раковину и сверился с моим отражением в зеркале.

— Набью. — Открыл входную дверь, выпустил спутника на лестницу.

— Ты у меня не балуй. Ступайте уже, людей не пугайте. — Провёл бритвой по щеке, сморщился и махнул нам вслед.

Мы оказались на улице в темноте.

До универсама ехали трамваем с пересадкой, двадцать пять минут. Вагон катил пустой и промёрзший, в окнах висел иней, и кто-то проделал в нём круглые глазки, в которые пролетали тёмные дома. Попутчик доедал пироги и допытывался, как ему вести себя у начальницы.

— Ничего не говоришь, — цеплялся за холодный поручень и следил за домами в ледяных глазках. — Стоишь и стараешься быть большим.

— Я и так большой, — отозвался, дожёвывая последний пирог и вытирая жирные пальцы о бумагу. — Мне стараться не надо.

— Тогда просто замрёшь, — утопил кулаки в бушлате и пригнул голову.

— А если она спросит, кто я? — спросил он, перегнувшись ко мне через салон и заслоняя свет.

— Ответишь: «Я при нём», — подсказал я, щёлкнув костяшкой по заиндевелому стеклу.

— А я при тебе или при обуви? — уточнил он, выгнув брови и комкая ненужный кулёк.

— При деньгах. Все при деньгах, — отозвался я, усмехнувшись и кивнув на него.

В без четверти восемь уже серело. Универсам, двухэтажное здание из жёлтого кирпича с витринами, в которых пылились мотки ниток и пустые вешалки, ещё не принимал покупателей. Мы обогнули его со двора. Во дворе громоздились порожние ящики, у стены приютилась дворницкая с кривой трубой, а у железной двери служебного входа находилась будка сторожа с горящим окном.

Из-под будки вылетела рыжая дворняга на цепи и бросилась на Толяна. Цепь дёрнула её назад в метре от его колен, собака вздыбилась на задние лапы и захлебнулась лаем. Толян отступил на шаг.

— Ну ты чего, рыжая? — Согнулся и показал ладони. — Я же свой, я кроликов знаю, — распрямился и отшатнулся ещё немного.

— Пальма! Цыц! — крикнул Иваныч, придерживая створку подошвой.

Из будки появился Иваныч: ватник, валенки с галошами, шапка, у которой одно ухо торчало вверх, как у пса с картинки в «Крокодиле». Он выглядел точно таким, каким я его помнил, только я помнил его моложе: в восемьдесят девятом ему было семьдесят, а сейчас семьдесят два, и он был крепче меня пятидесятипятилетнего.

— Куды? — остановил нас Иваныч, щурясь в проёме.

Я надорвал пачку «Беломора» у него перед носом, вытряхнул на ладонь пять папирос, ровных, с длинными гильзами, и протянул ему.

— К Римме Павловне, Иваныч. По делу. На склад мы не суёмся, — заверил я, сыпая папиросы ему в горсть и загибая край пачки.

Иваныч оценил подношение, одну папиросу сразу пристроил за ухо, за то, которое торчало, остальные сунул в карман ватника и прихлопнул.

— Она в восемь без пяти, — предупредил он, качнув подбородком на будку и поправив шапку. — Раньше не суйся, она не любит, когда ей под кабинетом дышат, — добавил он, поманив нас к себе.

— Мы тихо, — заверил сторожа и уцепил спутника за рукав.

— Тихо он, — усмехнулся Иваныч, качнув подбородком на моего спутника. — Этого тихо не бывает. Цыц, зараза, — прикрикнул он на собаку, отпирая замок и пропуская нас.

Остаток пачки я спрятал обратно в бушлат: в этом городе у каждого ворот дежурил свой сторож, и у каждого сторожа были уши.

Коридор второго этажа пах мастикой и хлоркой. Дверь с табличкой «Директор. Згурская Р.П.» оказалась заперта. Мы притиснулись к перегородке. Друг сдёрнул шапку и мял её, как в военкомате. Через десять минут по лестнице поднялась Римма Павловна.

Причёска у неё вздымалась начёсом, залитым лаком и крашеным в каштан. Дублёнка с вышивкой по подолу облегла её как влитая. Золото сверкало на трёх пальцах. От неё пахло «Климатом», дефицитным, французским, тем самым запахом, который я ещё десять лет слышал в своём первом офисе, потому что она обедала со мной по четвергам и учила, как держать поставщика за горло одним пальцем. Ей было сорок восемь. Справа у рта чертилась одна морщина от привычки усмехаться, а левая щека осталась гладкой.

Она увидела нас и шага не сбавила.

— Вы к кому? Приём с десяти, — сказала она, перебирая ключи в сумке и глядя поверх наших голов.

— К вам, Римма Павловна. Купить хочу, — отлепился от перегородки и расправил бушлат.

— Что тебе? — спросила она, вставляя ключ в замок и поворачиваясь ко мне вполоборота.

— Сапоги, — произнёс я, чувствуя, как друг за спиной перестал комкать ушанку.

— Обувь, мальчик, сейчас хочет весь Горький. Какой нет, та втрое дороже, — засмеялась Римма, отпирая замок и блестя кольцами. — И живыми деньгами. Я тебя научу, если ты запомнишь: хороший товар сам себе цену знает, а глупый простак узнаёт её последним. Явишься в десять, по записи, — добавила она, уже исчезая в кабинете, спиной к нам.

Она уже пересекла порог, и весь этот разговор понадобился, чтобы отвязаться: ни у одного пацана в бушлате такой суммы не бывает.

— Седьмой и восьмой стеллаж в полуподвале, — произнёс я ей в спину, замерев у таблички. — Верхние полки, за коробками с галошами. Сорок коробок польских, на меху, тридцать седьмой — сороковой. В сентябре вы их списали на пересортицу: у половины размер на коробке с размером внутри не сходится. До весны их съест мышь или ревизия. Ревизия скорее.

Глава 4

Римма замерла на пороге. Потом добралась до стола и села, не расстёгивая дублёнки; сумку пристроила рядом. Посмотрела на меня, на Толяна с шапкой, которую он всё мял, и опять на меня.

— Ты кто такой? — Разглядывала меня, чуть склонившись набок.

— Грачёв. С Коминтерна. Покупатель, — назвал я, замерев за косяком и не сокращая расстояния.

— Откуда про склад слышал? — поинтересовалась она, прижимая сумку локтем и барабанив кольцами по дереву.

— Земля слухом полнится, — скривился я и сунул кисти за отвороты.

— Земля, мальчик, полнится тем, что ей докладывают. Кто тебе докладывал? Ефим? — нажала она, подавшись вперёд и не отрывая от меня глаз.

— Ефим мне ничего не говорил, — возразил, качнув подбородком.

— Тогда кто? — потребовала она, откинувшись на спинку.

— Покупатель не выдаёт поставщика, Римма Павловна. Вы сами мне это скажете лет через двадцать, — произнёс я, помедлив и чуть улыбнувшись.

Она усмехнулась правой стороной рта.

Она прикидывала, и я видел, как у неё всё складывается: списанный товар, мёртвый запас, по которому к весне нагрянет ревизия и потребует акт на уничтожение. Акта нет, обувь есть. Пацану известно, где её хранят, значит, кому-то ещё тоже. Лучше сейчас живая наличность, чем в марте объяснительная.

— Сколько у тебя? — спросила она, выдвигая ящик и освобождая перед собой пятачок.

Я выложил на стол всё. Дембельские, трёшки, пятёрки, червонцы, аптечная резинка. Машкины четырнадцать рублей лежали отдельно, это был долг. Приятель вслед за мной вывернул карманы: восемнадцать копеек медью и пуговица. Из вещмешка он достал мятую пятёрку, сложенную вчетверо, последнюю, мать дала её на обратную дорогу.

Я присоединил пятёрку к пачке.

— Это всё? — усомнилась Римма, выгнув бровь и не касаясь купюр.

— Это всё живое, что есть, Римма Павловна, — ответил я, подтолкнув к ней пятёрку. — Остальное обеспечит наша торговля, — добавил я, не отрывая руку от клеёнки.

— Остальное, — повторила она, смахивая деньги в ящик и оставляя пуговицу перед собой. — Научу тебя, мальчик, одному правилу: «остальное» не считается. Считается то, что передо мной. Забирай. И чтобы я тебя в зале не видела, — закончила она, бросив пуговицу в ящик следом и задвинув его.

— В зале не увидите, — кивнул другу и отступил из кабинета.

— Даня, она ж пуговицу мою прикарманила, — прошептал он, наклоняясь ко мне и косясь на кабинет.

— Ещё получишь, — успокоил я, шагая к лестнице, спиной к собеседнику.

— Когда? — Догнал меня и задел шапкой перила.

— Когда ей правильно предложат, — перехватил створку и пропустил его вперёд.

В полуподвале было тепло и сухо, лампы дневного света гудели, и одна мигала. Стеллажи из уголка, крашенные серым, упирались в потолок. На седьмом, наверху, за штабелем коробок с чёрными галошами «Красный треугольник», теснились картонные коробки с надписью на польском, перевязанные крест-накрест бумажным шпагатом.

Перед седьмым стеллажом кладовщик Ефим, лысый, в синем халате, в очках на резинке, загородил нам дорогу животом.

— Вынос через меня. Без накладной не выпущу, — Ефим свёл большой палец с указательным и замер перед нами. — На лапу, — освободил переносицу от очков и устоялся на меня.

Всё моё, до Бугаевой пуговицы, лежало у Риммы под замком.

— Ефим, мы сами, — зацепился подошвой за нижний кронштейн и сжал уголок.

— Сами не положено, — возразил он, качнув очками на резинке и переступив ближе.

— Директор в курсе, — ответил я, напрягая локти и нащупывая следующую перекладину.

— Директор мне не докладывала, — упёрся Ефим, следя за моими ботинками.

— Отчитывается перед вами или вы перед ней, мне без разницы, — бросил я, уже опираясь подошвами на доску. — Толян, держи Ефима, — добавил я, мотнув подбородком вниз.

— Как держать? — спросил он, переводя внимание с меня на Ефима.

— Вежливо. Просто рядом приткнись, — ответил я, сжав перекладину.

Толян потеснил Ефима, пристроился рядом, доброжелательно нависая. Ефим запрокинул лицо и замолчал.

Я полез ещё выше. Металл холодил и царапал кожу, доска прогнулась под коленом и выдюжила. Я снимал коробки с верхнего яруса по одной и подавал вниз. Он принимал их, как младенцев, а внутри шуршала папиросная бумага.

— Осторожно, — бормотал Ефим, переступая между разложенными коробками. — Осторожно, это польская кожа. Не бросай. Я за каждую пару отвечаю, — добавил он, следя за картонной поклажей.

— Вот и посчитаете, сколько отвечали. Вся партия, Ефим. Считайте, — спустился и отряхнулся.

— Вся партия, — выдохнул кладовщик, отступая от стеллажа и вытирая лысину платком; в голосе прозвучало такое облегчение, будто все пары он ждал списать сам.

Верёвку дал Иваныч, бельевую, серую, моток, за ещё одну папиросу, которую я пообещал ему назавтра. Мы связали товар в четыре стопки по десять и вынесли со двора мимо будки, мимо Пальмы, которая теперь только ворчала.

— Директору доложу! — крикнул Ефим, выбегая за нами и вцепляясь в железную ручку.

— Директор в курсе, — не оборачивался и балансировал поклажей на плече.

Остановка «Универмаг» оказалась совсем недалеко. В двадцать пять минут девятого подошла «единичка», мы втащили четыре стопки на заднюю площадку. Поклажа заполнила её целиком, пассажиры прижались к стёклам. Кондукторша преградила нам дорогу: тётка в валенках, в безрукавке поверх пальто, сумка с билетами на ремне наискось, как патронташ.

— Это что такое? Склад? С этим добром вон из вагона! — Кондукторша заступила нам дорогу, заслонила локтем билеты.

— Мы за багаж заплатим, — Бугай приподнял связку, подперев её подбородком.

— Тётенка, пятнадцать копеек за место, как положено, — я прижал нижнюю стопку коленом, придавил верхнюю ладонью. — Сорок мест, шесть рублей. Часы в залог оставляю, к вечеру заплачу.

— Какой тебе багаж? Это же грузовое! — Кондукторша рванула ремень сумки, стукнула компостером по поручню.

— Водитель, стой! Да мне из-за вас выговор! Часы в залог! Вечером расчёт! А утром я кому отчитаюсь, что на маршруте было столько пар сапог? Водитель, стой, говорю! — Кондукторша застучала по кабине, дёрнула сигнальную верёвку.

— Да пусть едут, — женщина с пакетом привстала с сиденья, указала на связки. — Гляди, какая обувь, женщина! Импортная, что ли?

— Польские, — я отогнул клапан, приподнял голенище. — На меху.

Трамвай затормозил на следующей остановке. Кондукторша возвышалась над нами, пока мы выносили стопки на снег. Створки хлопнули, трамвай укатил, звеня, и из заднего окна на нас смотрела женщина с пакетом, которая интересовалась импортом.

Мы остались на остановке у Сормовского шоссе со всей партией в картонной таре. До толкучки у Канавинского моста оставалось восемь километров.

— Может, другой? — Толян переложил верхнюю связку на снег, вытер рукавицей лицо.

— Другой будет такой же, — я поправил связку у ботинка, проверил узел. — Рельсы не наш путь, брат.

Он остался при грузе на остановке, никуда не отлучаясь. Я один отправился назад к универмагу.

Во дворе, возле дворницкой, ждали санки: большие, дворницкие, на широких полозьях, с высокими бортами из досок, чтобы возить мусор и песок. Дворник в треухе, вдвое старше меня нынешнего, с лицом, красным от мороза и от вчерашнего, колот лёд у крыльца.

— Мужик, санки ненадолго. Вечером верну, — я стиснул высокий борт, стряхнул с досок снег.

— Казённые, — мужик перерубил ледок у полоза, откинул пешню. — Не могу.

— Заплачу, — я полез во внутренний карман, нащупал пустую подкладку.

— Наличности не берём. Казённые, — он снова опустил пешню, отколол пласт льда.

Наличных не было: всё до копейки досталось Римме. Оставались часы: «Командирские» с танком на циферблате, которые мне вручили в части на дембель «за отличие в боевой и политической подготовке», а другу тогда достался значок.

— Не дарю и не продаю, — я расстегнул ремешок, протянул «Командирские» дворнику. — Залог. До вечера они у тебя, вернём санки — вернёшь.

— Ходят? — он поднёс их к уху, послушал ход.

— Ходят, — заверил я, примерив ремешок к его рукавице. — Береги, они у меня одни.

— Они у тебя не краденые? — он повернул циферблат к свету, ткнул пальцем в танк.

— Ты видел, кто мне их дал? Старшина, — я взялся за ремешок, помог ему застегнуть пряжку. — У старшины краденых не бывает, у него всё по описи.

— До вечера, — закрепил ремешок поверх рукавицы, вновь принялся за лёд.

Я прикатил сани к остановке. Мы уложили весь груз на них в два ряда и перевязали остатком Иваницыной верёвки. Он накинул петлю через плечо, наклонился вперёд и упёрся. Полозья закричали, груз тронулся. Я шёл сзади, подпирал верхний ряд ладонью, чтобы не съехал, и толкал.

Восемь километров вели по Сормовскому шоссе, потом по Канавину, по утопанному снегу, по обочинам, мимо заводских заборов, пятиэтажек и очередей у булочных. Было минус шесть. Из рта у Толяна валил пар, как из самовара, по бокам шинели проступила тёмная полоса от пота. Прохожие оборачивались нам вслед: мы волокли поклажу, как бурлаки на Волге, а на полозьях красовались чужие заграничные буквы.

— Свят-свят, — бабка в платке притормозила возле нас, отшатнулась. — Гробы, что ли, везёте?

— Сапоги, бабуса. Польские. На меху, — я притормозил и показал надпись на боку. — Приходите на толкучку за мост.

— Почём? — бабка нажала на крышку, подцепила ногтем угол картона.

— Девяносто, — я откинул клапан, выпустил мех наружу.

— Девяносто! — бабка осенила себя крестом, поправила платок. — Окаянные! У меня после квартплаты восемьдесят на месяц!

— Значит, за месяц и один день ваши, — я выровнял стопку, проверил узел.

— А мне сорок первый! — бабка стукнула валенком по полозу, показала на свой валенок.

— Ваш размер будет. Для вас специально, — я придавил клапан, задвинул его.

Она двинулась дальше, бормоча, и оглянулась дважды.

— Даня, — Толян перехватил петлю поудобнее, выровнял натяжение. — А вот как правильно: не имей сто друзей, а имей сто рублей? Или наоборот?

— Наоборот, Толян, — я подтолкнул поклажу, подровнял связку.

— А я всегда думал, что как раз так, — он устроил лямку удобнее, разогнулся. — Хорошо, что уточнил.

Через час я поменялся с ним и взял петлю. Верёвка резала плечо сквозь бушлат. Я брёл и прислушивался к ногам: они шагали сами и пружинили на подъёмах, как рессоры. Сердце колотилось ровно и сильно. Тридцать лет я ездил на машине с водителем и забыл, что можно тащить груз и думать только о том, где встать.

— Даня, — мой напарник поравнялся со мной, подхватил санки сбоку. — Ты чего улыбаешься?

— Ноги, — я перекинул лямку на другое плечо, размял кисть.

— Что ноги? — он навалился на борт и толкнул его.

— Идут, Толян. Сами идут, — я упёрся в петлю, прибавил шаг.

— А у тебя раньше не слушались? — он перехватил верёвку, прижал её к груди.

— Раньше они мне по праздникам отпуск разрешали, — я нацелился на ровный участок обочины, налёг сильнее.

Время я мерил солнцем над крышами. Оно висело низко справа и медленно ползло влево. К одиннадцати мы вышли к Канавинскому мосту.

Глава 5

Толкучка лежала на пустыре между мостом и Ярмаркой. Сотни зевак сбились плотными рядами лицом друг к другу, а между ними тѣк проход, и в нём переминался народ. Продавали всё, что было в доме: кастрюлю, утюг, набор лезвий «Нева», детскую шубку из цигейки, двое капроновых колготок, отрез ситца, будильник «Слава», хрустальную вазу, завёрнутую в газету. Над этим всем висел пар от дыхания, пахло семечками, горелым маслом и жареными пирожками с ливером, и перекликались голоса: «Кому колготки! Кому утюг!»

Лучшие точки у кромки, со стороны переправы, где поток гуще, заняли с восьми утра. Явились в одиннадцать.

Поставил санки у ближайшего пятачка. Три торговки с ковриками, на которых были разложены мотки шерсти и вязанные носки, и двое мужиков с гаечными ключами на газете притиснулись, как на параде.

— Тут занято, парень. — Торговка загребла коврик к себе и носки в горсть собрала. — В конец тебе.

— Нам бы метр. — Перехватил верёвку и поправил съехавшую набок коробку.

— Метр в конце себе выбирай. — Вторая продавщица поправила носки по коврику и обняла колени. — Тут с шести стоим.

— С шести? — Я наклонился к шерстяным моткам, изучая вязку. — А выручили сколько?

— Не твоё дело, сколько. — Та придавила моток к груди и кромку коврика заправила под себя.

— Значит, нисколько. А у меня польские сапоги, — отрезал и приплюснул крышку.

— Польские? — Тётка подалась вперёд и провела по шершавому ворсу. — Место мне сначала найди.

— Место сам себе найду. — Стиснул верёвку и притиснул ящик к центру.

— Тут занято, не уступлю! — Рванула подстилку на себя и сгребла мотки в охапку.

Бугай дёрнул верёвку и шагнул вперёд. Я поймал его локоть и притормозил; тот замер.

В конце, у забора Ярмарки, народу было мало, поток туда не доходил, там мёрзли бабки с кошками и мужик с аккордеоном. Оценил Бугая — два метра роста, в тесный проём боком протискивается.

— Толян, ниже давай. — Перенёс вес вперёд и приготовился карабкаться.

— Чего? — хмыкнул, скосил зрачки и остался на месте.

— Пониже, — велел я, расставляя ноги шире, — и держи меня за голени.

— Даня, ты чего? Мы что, в цирк? — хмыкнул, размял затылок и всё-таки согнулся.

— Мы в торговлю. Ниже. — Взял верёвку и подвинул груз на полметра к проходу.

Толян присел. Я встал ему на плечи, на погоны, которых не было, и тот взялся обеими лапами за мои лодыжки.

— Давай вверх. — Напрягся и замер.

— Даня, ты тяжёлый. — Застонал и поплыл вверх.

— Я на тебе один раз в жизни стою. Ну, армия. — Пошатнулся, но сохранил равновесие.

Толян встал, медленно, как кран, и вынес меня над пустырём. На высоте 3,5 метра над снегом открылась вся округа: ряды, платки и ушанки, пар, дорога с переправы, тёмные трамваи на мосту, Ока подо льдом, дымы Канавина. Весь этот народ обратился ко мне: что за дурак залез на верзилу?

Я согнулся, Толян сунул мне образец из открытого ящика, и я поднял его над собой. Чёрный лакированный верх блестел на солнце, как мокрый, голенище окаймляла белая опушка,

каблук был невысокий, устойчивый, молния располагалась с внутренней стороны, металлическая, с кольцом на замке.

— Польские! — Заорал, разводя локти. — Натуральная кожа! На меху! Размеры 37–40! Пара в руки!

— Почём? — гаркнул кто-то из-под меня, закинув затылок.

— Девяносто! — Перенёс вес справа налево и помахал им.

— Столько? Да у Деда Мороза дешевле! — Толстая тётка в платке запахла пуховый шарф и стукнула валенком.

— У Деда Мороза витрина пустая, а в моих сорока ящиках — четыре размера на натуральном меху! — Проорал вниз, выпятив зад для равновесия, чтобы слышно было до самых дальних.

Ко мне повернулись сначала ближние, потом дальние. Женщины различили белую опушку, и публика переменилась. В ноябре 1991-го такого в магазинах не было ни за какие. Горький донашивал прошлогоднее, чинил и клеил, подшивал валенки, а в воздухе у меня сверкала свежая кожа.

К полозьям ринулись, потом полезли. Вскоре под нами выстроилась очередь.

— Толян, бери оплату, отдавай нужную. 38-й даме в зелёном! — заорал, салютуя образцом.

— А не подойдёт? — Пристроила картонку у живота и проверила сумму в кулаке.

— Дома решите. Не подойдёт — несите, поменяю, — бросил, наклоняясь, чтобы до неё донеслось сквозь гомон.

— Вы тут ежедневно будете? — Клиентка поправила воротник и не тронулась.

— Буду, пока есть товар. Кто ещё? Мужчина, по одной упаковке, больше не отпускаю. Для супруги берёте? Ведите супругу. — Ткнул образцом вперёд и повернул его швом наружу, демонстрируя строчку.

— А с размером промахнусь? Жена же убьёт! — Мужчина сунул наличные Толяну и затряс бумажником.

— Валите всё на меня. Не подойдут — приводите её, поменяю. Пусть меня ругает, а вы стойте рядом красивый, — бросил я, дирижируя глянцевым образцом над ожидающими, словно музыкант.

— Девушка, примеряться здесь не надо, — окликнул, вскинув его выше её макушки. — 40 вам велик, у вас 38-й. Глаз у меня верный!

— А вы что, торговец? — Девушка отступила на полшага и замоталась в пуховую шаль.

— Всю жизнь, — рявкнул я, распрямляя поясницу.

Зафиксировав мне лодыжку, мой товарищ свободной ладонью брал наличные и выдавал ящики. Я командовал сверху: кому что, сдача, следующая. Торговки с вязаными носками притихли. Угол у прохода оказался лучшим на пустыре, его замечали отовсюду.

— Даня, — прорычал снизу мой постамент, разминая шею. — Я уже на пределе.

— Держи, Толян. Это не руки, это капитал, — отозвался я, откидывая грудь.

К часу дня затекло всё ниже пояса, у Толяна плечи. Поменялись бы, но мне под Толяном хребет ломает.

Тут явился совсем другой делец.

Он не лез напролом, выбирал путь сбоку, и зеваки перед ним раздвигались сами. На нём красовалась светлая дорогая дублёнка, длинная, и ондатровая шапка, пышная, как на члене Политбюро, а запястья прятал в карманах. Остановился у нашего груза и смерил меня от ботинок до макушки.

— Слезай, орёл. Слезай, потише. Денежки живые, сразу, вот они. По твоей цене, копеечка в копеечку, — пробасил он негромко, протиснувшись ближе.

Подо мной Бугай дрогнул: понял раньше меня. Весь запас одним заходом, живьём, можно домой, пока светло, и есть пироги.

Я спрыгнул наземь, в снег, выпрямился и уставился незнакомцу в глаза.

Ему было под 40, тип холёный, лицо гладко выбрито, с тяжёлой челюстью. Когда улыбнулся, слева во рту блеснула золотая фикса. Вынул кисть для рукопожатия; на пальцах блеснули перстни, а на мизинце печатка с камнем.

Я отказался от рукопожатия. Передо мной был Сеня Прибор.

Семён Приборов, оптовик Деда Каленика. В прежней жизни я встретил его, когда он заявился на мой дебютный аукцион от «одной фирмы», и уже тогда всё про него было известно в городе. Он стягивал оптом всё, что всплывало на барахолках, у несунув, у дельцов, у директоров, и через неделю сбывал это втрое в точках Каленика на Канавинском рынке. Слить ему запасы — снабдить Каленика, и через неделю всё это по тройной цене красовалось бы на Канавинском, а меня никто бы не вспомнил.

— По одной, земляк. И в очередь, — отрезал я, разводя ладони и пятясь.

Сеня вздёрнул бровь. Кисть с перстнями так и повисла в воздухе.

— Я тебе, орёл, деньги живые предлагаю. Товарчик-то твой кому нужен? Мне нужен. А прочим без надобности, зрители — не в счёт, толпа разойдётся, а я никуда. Степаныч за такое дело любит. Степаныч всё слышит, — повторил он, шевельнув кистью с перстнями и не опуская её.

— Всем по одной. За наличные, — ответил я, кивнув на народ.

— Ты подумай. Сбережения свои по ветру развеешь, а я тебе сейчас копеечку обеспечу. Без давки, без крика, — продолжил он, пряча перстни.

— Публика у меня сама кричит, земляк. Хотите обувь, встаньте в хвост, — возразил я, зацепив краешек крышки.

— Правильно, парень. А то мы тут с утра, — вступилась дама в зелёном пальто, прижав свёрток к груди и уложив его удобнее.

Сеня осмотрел меня внимательно, как оценивают вещь, насчёт которой неясно, настоящая ли. Кивнул самому себе и удалился к столбу у дороги, где кучковались его пацаны.

Я снова полез на Бугая.

Он опустил, я опёрся ботинками ему на плечи, вцепился в воротник, и Бугай распрямил колени, зафиксировав мне щиколотку, а свободной пятернёй уже готовясь принимать купюры. Я оказался там же.

— Даня, чего тому надобно? — шепнул он, пряча челюсть в воротник и чуть шевеля лопатками.

— Всё и сразу, — пояснил я, поправляя захват.

— А ты? — спросил он, чуть запрокинув затылок и плотнее стиснув мою щиколотку.

— А я — по одному набору, — заверил я, свесив голову к Бугаю.

Через десять минут у нас стали нарисовываться юноши не старше семнадцати. Прибывали по одному, с промежутками, будто незнакомые, все в серых кроличьих шапках. Одинаковых: одна фабрика, один ворс, одна завязка на макушке бантиком, тесёмки болтаются. Первый получил заказ, заплатил и побрёл к столбу с полной ношей. Следующий уже тянул Бугаю купюры, но завершить сделку не успел. Прибор действовал через подставных, с виду обыкновенные клиенты: пацан хочет нарядить родню, что такого.

— Кроличьи шапки мимо! Сегодня обслуживаю только женщин! — объявил я, взмахнув своим товаром и стараясь перекрыть гул.

— Это как? Я матери несу! — встрял юнец в меховом головном уборе, суя Бугаю купюры и надвигая его на брови.

— Пусть мать явится сама, — отозвался я, качнув обувкой.

— Она больная! — возразил тот, сминая наличные и задрав кадык.

— Пусть выздоравливает в очереди, — сказал я, выровнявшись.

Женщины обменялись понимающими усмешками, оценили серых кроликов, вклинившихся между ними, и Сенины запасы у фонарной опоры. Одна за другой они сомкнулись, и ряд стал плотным, как забор. Дама, уже заплатившая за обувную пару, опустила упаковку на наст, ухватила ближнего пацана за шиворот и вытолкнула из ряда.

— Марш, сынок, марш к папе. У папы всё найдётся, — распорядилась она, направляя юнца к его хозяину и напирая ему в поясницу.

— Тётянька, отцепитесь! — взвизгнул малый, дёрнувшись и вцепившись в рукав её пальто.

— Я тебе не тётянька. Я тебе ещё и мама, если надо. Марш, — огрызнулась торговая союзница, отцепляя его от рукава и снова забирая свёрток.

Остальные побрели за ним. Через минуту кроличьи уши из шеренги исчезли, все сбились в гурьбу там же.

Сеня буравил меня долго, не мигая. С такого расстояния я различал только дублёнку и пышную ондатру, а черты под меховой тульей были неподвижны. Потом донёсся его негромкий басок, но на пустыре в эту секунду было так тихо, что до нас долетало всё до слова:

— Ладно. К пятнице у меня будет дефицит, какого этой паре не снилось. Вагон, — произнёс он, обращаясь к своим.

И направился к переправе, а юноши с добычей потащились за ним.

Глава 6

Вагон ждал у Риммы, на базе у Сортировки, в тупике у склада №3: мыло, чай, сгущёнка, сахар, тушёнка, порошок. В прежней жизни он достался Прибору, тот сбыл его после 2 января в точках Каленика в 20 раз дороже, и это был его стартовый капитал, с которым он въехал в 1992-й. Про пятницу я не знал.

Пятница выпадала на пятнадцатое, а сегодня было одиннадцатое. Вагон стоил девять тысяч, за пазухой у меня к вечеру наберётся около 3150. К ним требовалась отцовская книжка.

— Даня, ты чего застыл? Клиентка ждёт, — окликнул Бугай, шевельнув торсом.

— Тридцать девятый. Той, что в синем, — отозвался я, вновь приспособившись к шаткому постаменту.

В двадцать минут третьего у края площади замелькало знакомое школьное пальто, коричневое, с капюшоном, отороченным искусственным ворсом. Это пробиралась Машка, с портфелем под мышкой и косами из-под вязаного колпачка. После уроков она доехала от школы на трамвае, одна, и теперь пристроилась неподалёку и пялилась на меня, задрав подбородок и открыв рот.

— Толян, — бросил я вниз, мотнув затылком. — Машка.

— Не ёрзай, хозяйка. Только не шатайся, — прогудел он, одной лапой устраивая её между последних упаковок, а другой по-прежнему страхуя меня за голень.

— Даня! — выпалила, вцепившись в борт. — Ты что, спятил? Тебя же с моста разглядят!

— Это специально, — произнёс я, поведя каблуком.

— Нарочно? А если папа заметит? — взвилась, заёрзав на полозьях.

— Тогда папа купит, — отчеканил я, балансируя на высоте.

— Он не купит, он на тебя закричит! — предупредила, придавливая портфель коленями.

— Закричит, а потом купит. Не ёрзай и следи, — велел, указав на неразобранное.

Машка устроила школьную сумку поперёк бёдер и считала коробки вслух, шёпотом, потом беззвучно, движением рта. Я замечал, как сверяет запас с длиной ожидающего хвоста, и как у неё шёлкает арифметика: хватит на всех или нет.

— Даня, — выдохнула моя помощница громким шёпотом, вытаращившись и подавшись ко мне. — А мы много заработали?

— Маша, тише, — шикнул я, свесившись к ней лишь настолько, насколько позволял мой шаткий постамент.

— Я тихо. Я только хочу знать, мне причитается процент или нет, — зашептала, теребя уголок портфеля.

— Не отвлекайся от дела, — оборвал я, переложив лакированную вещь в свободную кисть.

— Я считаю. Получается много, а мне ничего, — вздохнула, скорчившись.

Около 15:00 начало смеркаться. Солнце упало за крыши Канавина, наст стал синим, фонари над Окой ещё не зажглись. На полозьях сохранилось пять коробок, ждали две женщины.

— Всё, девушки: кончились, — объявил я, подняв добычу над головой.

— Как кончились? Вон же они! — возмутилась одна, тыча на груз.

— Есть. Под заказ, — пояснил я, покрутив глянцевый каблук.

— А когда будут? — спросила ожидающая, теснясь ближе к борту.

— На следующей неделе. Записывайте размер, — отчеканил я, приподняв сапог.

— А ты тут будешь? — уточнила другая, перекидывая ручку сумки на свободное запястье.

— Я теперь тут всегда, — подтвердил я, широко разведя локти.

Одна упаковка предназначалась для мамы. Четыре я приберегал себе: после 2 января за них дадут второе, и четвёрка ещё сработает, когда понадобится. 35 комплектов разошлись по городу.

Бугай присел, я слез. Ноги затекли так, что я переминался, вцепившись в его плечо, пока в ступни не вернулась кровь. Наличка грела меня за пазухой, во внутреннем отделении бушлата, мятая, тёплая от тела. Сверять выручку я собирался в квартире, потому что прилюдно её достаёт тот, кому не жалко с ней расстаться.

Обратно мы ехали трамваем. Кондукторша на этом маршруте оказалась другая, молодая, с накрашенными губами.

— За багаж по пятнадцать с места, — отчеканила кондукторша, оценив нашу поклажу.

— С удовольствием, — усмехнулся я, выгребая сорок пять копеек за поклажу.

— 3? — уточнила та, обведя поклажу взглядом и фыркнув. — А это чьё?

— Девочкино. Она хозяйка, — объявил я, мотнув в сторону сестры.

Машка приосанилась на сиденье и обвела вагон взглядом, как директор магазина. Кондукторша фыркнула и двинулась по салону.

В половине четвёртого дворницкая универмага оказалась закрыта, на двери висел замок. Дворник ушёл вместе с моими «Командирскими». Санки мы дотащили до подъезда и затолкали под лестницу, в закуток для колясок. Часов на мне не было.

Отец уже вернулся со смены и мыл руки над раковиной. Тёр долго, пемзой, мазут вьелся в трещины на фалангах. На сковородке шипели разогреваемые пироги. Наш гость примостился на раскладушке и стерёг пироги.

Я вынул пачку из-за пазухи, высыпал на кухонный стол, на клеёнку в синюю клетку. Деньги рассыпались сами: десятки, двадцатипятки, мятые, сложенные пополам, сложенные вчетверо, несколько купюр по 100, хрустящих, розовых, с Лениным в овале. Я принялся распределять их по кучкам. Мать погасила газ и застыла со сковородкой. Машка возникла в дверях. Батя вытирался полотенцем, не сводя глаз с вороха.

Насобиралось чуть меньше трёх тысяч ста пятидесяти: трамвай на обратном пути уже съел свою мелочь.

— Кого ограбил? — Он повесил полотенце на крючок и расправил клеёнку. Произнёс это спокойно, слишком спокойно, как в цеху со сварщиком, который заявился на смену пьяным. 300 рублей он откладывал 2 месяца, уже после хозяйства и всех семейных расходов, и такие суммы у двадцатилетнего сына значили одно из 2 объяснений: либо ограбил, либо наживаете на дефиците, а для него это было почти одно и то же.

— Никого, батя. Обновки сбывал. — Я подтолкнул к нему ближнюю кучку и заложил пятерню за пояс.

— Какие? — Он подался ко мне и уперся кулаком в стол.

— Я сама там была! На Толике стоял! Как на памятнике! Там очередь до моста была! — Машка ворвалась в кухню и показала на меня.

— Маша, пальтоними. — Он указал подбородком к коридору и снова уставился на выручку.

— Ну правда же! — Девчонка топнула и обняла портфель.

— Сними. — Он обратился к ней и показал на вешалку.

И девчонка удалилась, шаркая. Я раскрыл одну из картонок и достал обновки, сняв папиросную бумагу. Поставил на пол перед матерью. Пустую картонку я прислонил к ножке крышкой вверх.

— Надень, мам. Оттуда же. — Я положил их у её тапок и сел на корточки рядом.

Она вернула сковородку на плиту. Покосилась на мужа и помедлила, ожидая его реакции. Сняла тапки, войлочные, стоптанные, с дыркой на большом пальце, и сунула правую ступню в

сапог. Потянула молнию вверх, до самого колена, и застёжка скользнула мягко, с тихим треском. Обула левую ногу и прошлась от плиты до окна. Спина ощутимо выпрямилась.

— Паш, Паш, как влитые! — Провела ладонью по голенищу и засмеялась.

Отец опустился на корточки рядом, взял участок кожи у щиколотки и помял. Материал был толстый и мягкий одновременно, живой. Поднёс к носу пальцы и понюхал. Кожей пахло, не клеёнкой. Он весь свой век проработал с металлом и различал, как пахнет настоящее и как подделка.

Он встал во весь рост. Лицо у него было такое, будто его обманули, а он не может найти, где.

— Настоящие. Где взял? — Он отдёргнул руку и растопырил пальцы.

— В универмаге. У директора. Списанные. — Я притянул к себе освободившуюся тару и закрыл крышку.

— И по три шкуры с баб драл. — Он окинул вырубку и снова уставился на Валентину.

— По девяносто уходили, батя. В магазине таких нет ни за какие, — пояснил, разравнявая крайний столбик бумажек.

— Спекулируешь. — Он спрятал мизинец и повёл пятернёй.

— Продаю. — Я откинул грудь и подобрал губы.

— Это ты мне про «продаю» не объясняй. Рынок у нас в Канавине, там огурцы. Ты мне скажи, кто всё это делать будет, когда все торговать возьмётся? Я? Так я и буду. А ты потом мне мои же резцы втридорога всучишь и скажешь: «Батя, это бизнес». — Он подобрал безымянный вслед за мизинцем и поставил кулак на клеёнку, не касаясь накопленного.

— Резцы я тебе по себестоимости, — усмехнулся, накрыв крайнюю кучку манжетой.

— По себестоимости! Слышала, Валя? По себестоимости! — Он обратился к Валентине и развёл растопыренные пятерни.

— Паш, он же мне их купил. — Перенесла вес и цокнула каблучком по половице.

— Вот именно. Вот именно, что за плату. Сегодня одно, завтра тебе что-нибудь принесёт, и мы все своим в цеху в лицо смотреть не сможем. — Он отвёл взгляд от Валентины и замолчал.

— Почему не сможем, если у нас сапоги? — Мама повернулась на каблуках и тронула плиту.

— Потому что у людей нет! — Он подался к ней и ткнул в окно на двор.

— Так горожане их и забрали. Всё за день. Они терпеливо стояли и говорили мне «спасибо». — Я подцепил из столбика одну двадцатипятирублёвку и показал отцу на свет, потом вернул обратно.

— Тебе говорили «спасибо», а мне скажут «спекулянт». — Он склонился над кучками, не касаясь их, и стиснул кулак в воздухе.

Он процедил это так, как цедил «пьянь» и «несун», и я понял, что будет повторять его до ночи и что спор о книжке состоится сегодня.

— Барышник. — Он адресовал это уже Валентине, потом плюхнулся на табурет.

Она переминалась в непривычной обнове посреди кухни и молчала, потупившись.

К без двадцати пяти пять стемнело совсем. Над подъездом №2 горел фонарь, жёлтый, с мухами, вмёрзшими в плафон. У доминошного стола мёрзли три подростка лет 15 из нашей пятиэтажки, курили, прикрывшись от ветра, и сплёвывали на наст.

Машка караулила меня у подъезда, как договаривались: рукавицы под мышками, смятый фантик между большим и указательным.

— Вечер, — обронила, убирая фантик за отворот. — Уже вечер.

— Вот и дождалась, — подхватил, извлекая из бушлата отдельную пачку и прощупывая толщину. — Самое время твоего процента.

Раскрыл припасённую пачку. Червонцы, четырнадцать штук. Начал отсчитывать ей в варежку вслух.

— Раз. Два. Дальше... — называл, отсчитывая бумажки и укладывая их поверх вязки.

Подростки там, где обычно играли в домино, перестали курить. Один крикнул, другой сплюнул длиннее обычного, последний боднул ближайшего локтем.

— ...четырнадцатый, — закончил, расправляя поясницу и обращаясь к вкладчице. — Вдесятеро, Мария Павловна.

Маленькая собственница сжимала рукавицу, растопыренную от бумажек.

— Спекулянт! — заорала баба Зина с третьего этажа, хлопая балконной дверью об стену и высунувшись на мороз в вязаном платке. — Люди, все сюда! Спекулянт растёт! Средь бела дня! Сестру малую втягивает! Грачёвы, стыд какой! Павел Семёныч в цеху горбатится, а сынок!..

Зинаиде Фёдоровне было семьдесят, а глотка такая, что голуби с ближней крыши взмывали разом и слышно было до гаражей. Во дворе её слушали все: про всех у неё было своё досье: кто с кем пьёт, кто кому изменяет, у кого сын за решёткой, у кого дочь в Москве. Завтра её обвинение повторят у каждой лестницы, у гастронома, в сберкассе: «Грачёвский-то, слышали? На дефиците наживается».

Ребята ухмылялись и ждали: как выкручусь.

— Зинаида Фёдоровна! — обратился снизу, спокойно, громко, на всю улицу, вздёрнув подбородок и не шелохнувшись. — Вам персонально пару за те же 90, что на толкучке. Тридцать восьмой держу. Из Польши, на меху.

— Какие ещё... — вымолвила соседка, осекаясь на полуслове и перегибаясь через перила.

Секунду между соседними стенами висела тишина. Молодые зрители перестали ухмыляться. За соседним стеклом играл телевизор.

Потом Зина убралась внутрь и захлопнула балконную дверь так, что в окнах на третьем этаже зазвенели стёкла.

Старший из компании покосился на захлопнутый балкон, потом на меня.

— Тридцать восьмой держит, — повторил старший, вынимая сигарету изо рта и пробуя слово на зуб. — Ну ты, Грач, жжёшь.

— Как обещал, — подтвердил, кивнув.

— Грач, — предложил он, вытаскивая для меня «Опал» и щёлкая по нему ногтем. — Угощайся.

Он назвал меня Грачом. Во дворе у меня была эта кличка с 1 класса, но это «Грач» прозвучало иначе, уважительно.

Юная деловая партнёрша была рядом, не выпуская добычу.

— Завтра, — объявила, обнимая варежку с червонцами и привстав на цыпочки. — Возьму в «Детском мире» куклу. С закрывающимися глазами. Немецкую. Стоит сотню.

— Сотню? — изумился один из компании, присвистнув и подмигнув остальным. — Ты что, миллионерша?

— Я предприниматель, — отчеканила сестра, подняв подбородок и пряча деньги за спину. — Понял?

О той самой мечтала с 3 класса, с тех пор как заметила в витрине на Покровке, и под каждый Новый год писала про неё Деду Морозу, а под ёлкой неизменно находила колготки и книжку. Эти 140 рублей были её собственностью, игрушка — тоже, и отнять это сейчас, во дворе, при ребятах, — получить слёзы, и возразить было бы нечего.

— Маш, — начал, опускаясь перед ней на корточки и приближаясь к ней. — Через месяц получишь и игрушку, и сдачу, если сейчас передашь мне все 14 десятков на товар.

— Какой ещё? — спросила, хмурясь и теребя отворот.

— Жвачку, — объяснил, чертя ботинком стрелку по насту и не отпуская её внимания. — Турецкую. Коробка на 100 пластинок. У Риммы на базе есть. В школе они разлетятся поштучно, по трёшке за штуку.

— Сотня пластинок по трёшке... — пробормотала, шевеля губами и чертя по утоптанному пятачку. — Это 300. А вкладываю 140. Сверх затрат 160. Кукла стоит 100. Значит, 60, и 140 в деле?

— Верно, — согласился, кивнув. — До расходов и скидок. Куклу берёшь из прибыли.

— А если никому не надо? — усомнилась, недоверчиво щурясь и постукивая валенком.

— Разберут, — заверил, понижая тон и сближаясь с ней. — Пластинка мятная, внутри вкладыш с утёнком на катере. Мальчишки за вкладыш раскошелятся, а девочки за мяту.

— Откуда такая уверенность? — допытывалась, наклонив голову набок и оценивая меня, как строгий клиент.

— Я торгаш, Маш. Мы нюхом. — Вдохнул с шумом и покрутил башкой, как собака.

— Ты мне сам говорил: у кого клиент, тот диктует, по какой цене, — напомнила, тыча в меня.

— Я говорил? — усмехнулся, поправляя ушанку. — Значит, хорошо, что запомнила.

Ребята у стола слушали, забыв про сигареты. Сестра думала долго, косы торчали из-под шапки, одна короче другой. Потом она вытряхнула из варежки червонцы мне в ладонь, все четырнадцать. Подбоченилась.

— Кукла подождёт, — решила, поджимая губы. — Жвачку к среде, иначе — вернёшь вдесятеро. Ещё раз.

Ребята засвистели. Сложил её червонцы и убрал отдельно, в нагрудный карман.

— К среде, Мария Павловна, — проронил, застёгивая борт.

Глава 7

После ужина мать убрала тарелки, протёрла клеёнку и уже мыла посуду спиной к нам; я разложил на столе тетрадный лист в клетку. Столбиком моим почерком шли наименования: сгущёнка, сахар, рафинад, чай, мыло, порошок, тушёнка. Рядом — выручка с толкучки, уже без Машкиных. Бугай примостился на раскладушке, обхватив кружку, как гранату. Машку выставили в комнату, она подслушивала под дверью: в щели темнели носки её тапочек.

Отец устроился напротив меня, в майке, с махровым полотенцем на плечах после душа.

— Батя, — произнёс я, придвигая лист ближе к нему. — Снимем книжку. 9 400 в товар, сейчас. По госцене. На базе у Сортировки стоит крытый вагон, знаю где. К февралю верну впятеро.

Он прочитал столбик, шевеля губами. Резко выпрямился; табурет отъехал назад и стукнулся о холодильник.

— Впятеро, значит. — Батя взял со стола мой список и ткнул мне в грудь, как повестку. — Ты мне про рынок не рассказывай. Я на эти «Жигули» одиннадцать лет в цеху горбатился. Одиннадцать, слышишь? Мать себе пальто не покупала. Машке подержанный велосипед. Себе ничего. Каждую получку в сберкассу на Сормовском, к окошку номер три. Допуск на детали даёт ОТК, а на «Жигули» допуск даёт терпение, и оно у меня вот здесь! — Он ударил себя по груди и указал подбородком на выход. — Спекулянтов в доме не будет. Вон.

— Паша... — Она завернула кран и заслонила меня, ещё мокрая после мытья посуды. — Паша, сын же заработал. Мне сапоги купил...

— Валя. Сиди. — Он пнул табурет под стол и пошёл к окну.

— Паша, он... — Она попыталась ухватить мужа за локоть, но промахнулась.

— Сиди, я сказал! — Он добрался до батареи и повторил это в тёмное стекло.

Она опустилась на табуретку у плиты — в сапогах, которые так и не сняла с обеда, — и прижала мокрые ладони к коленям; халат под ними пошёл сырыми пятнами.

— Батя, — начал я, выставя ладонь, чтобы не отмахнулся. — Десять минут. Дай мне...

— Опять десять минут? — Он обернулся ко мне, сжимая челюсти. — Не буду слушать. Вон.

Спорить сейчас означало посорить их, при мне и из-за меня. За сорок пять лет ему не случалось брать назад слова, произнесённые при посторонних, — и при жене тоже. Она вступится за меня второй раз, он оборвёт её ещё раз, и до самого отбоя в доме начнётся война. Я коснулся материнского плеча.

— Мам. Я сам. — Накрыв её мокрые ладони своей рукой и сжал, потом отступил к раскладушке.

Свернул список вчетверо и спрятал в карман. Сгрёб купюры и сунул за пазуху. Надел бушлат. Павел Семёнович замер перед чёрным прямоугольником, за которым сейчас не разглядеть ни двора, ни своего гаража.

Бугай привстал с раскладушки. Я придавил его взглядом: ни с места.

— Даня, — шепнул Толян, отрывая локти от колен. — Я с тобой.

— Сиди, Толян, — отрезал, застёгивая бушлат. — Это моё.

Вышел на площадку, и засов щёлкнул за мной. На лестнице было холодно, лампочка на пролёте выше мигала, пахло кошками и чьими-то щами с третьего этажа. За стеной Павел Семёнович гремел чайником и водружал его на плиту так, будто хотел убить. Мама что-то произнесла — без ответа.

Я спустился во двор.

Час ходил по Коминтерна, от гастронома до угла с киоском, от киоска обратно, и сводил цифры.

Без сберкасы у меня оставалось три тысячи. Весь товар стоил девять. Мне достанется треть груза, а остальные две трети получит Прибор в пятницу. Мне была нужна вся партия: вся сгущёнка, весь сахар, вся тушёнка, все десять тонн. Иначе заполню лишь треть гаража, соберу треть очереди второго января, заработаю треть тех «Жигулей».

Конкурент, вероятно, намерен расплатиться с Риммой лишь в конце рабочей недели. Наличие эта женщина любила больше посулов: тут сомневаться не приходилось.

В восемь вечера я подошёл к телефону-автомату на крыльце гастронома. Красный аппарат прятался в будке с выбитым стеклом, трубка висела на железном шланге. Бросил двушку в прорезь и набрал номер. Помнил наизусть: в первой жизни звонил ей домой в любой час, сначала учеником, после партнёром, а дальше... дальше неважно.

Линия загудела: четыре гудка, пять. На шестом трубку сняли.

— Слушаю, — процедила Римма сонно и зло, потом шумно выдохнула; я прижал наушник к другому уху.

— Римма Павловна, Грачёв, — представился, прижимая наушник плечом. — Утренний покупатель.

— Кто?.. — отозвалась она и на миг ахнула. — Откуда у тебя мой домашний?

— Из телефонной книги, — отозвался, притопывая в тесной кабинке.

— Моего номера нет в справочнике, — отрезала собеседница и сердито хмыкнула.

— Значит, земля опять слухом полнится, — съязвил и потёр переносицу.

Наступила пауза. До меня доносилось её дыхание. Где-то у неё в квартире работал телевизор.

— Чего тебе надо, мальчик? — потребовала она, прокашлявшись, а я подышал на озябшие пальцы.

— На базу хочу с вами съездить. Сегодня, — выпалил, впиваясь ногтями в свободный кулак, чтобы не выдать дрожь.

— Ты с ума сошёл? Ночью? С пацаном? — возмутилась она и хрипло засмеялась. — Приходи завтра, в десять, по записи. Я не торгую в такое время, как последняя перекупщица. Я тебя учить не нанималась. — Последняя фраза еле доносилась сквозь гудение; я заслонил другое ухо свободной ладонью, зажав в ней вторую двушку.

— Римма Павловна, трубку не кладите, — заторопился, стиснув вторую двушку. — Про ваш груз у Сортировки, в тупике у третьего склада. Там у вас и мыло хозяйственное, и индийский чай, и сгущёнка. Порошок, тушёнка, сахар — тоже там, так? Вы всё это для Сени Прибора до пятницы бережёте. Только у него пока намерения. А с деньгами раньше него приду.

Двадцать секунд — ни слова. Я перекатывал ребристый кружок по ногтю и слушал её дыхание.

— Сколько у тебя? — спросила она наконец, сопроводив вопрос нетерпеливым хмыканьем, а я выпрямился, насколько позволяла тесная будка.

— Хватит, чтобы вы не стали ждать Сенину пятницу, — заверил, упираясь локтем в перегородку.

— Мальчик, мне нужна цифра, — отчеканила она, перевела дух и повторила требование; я прикусил губу, чтобы не назвать цифру.

— По телефону сумму называть не буду, — отрубил, отправляя вторую двушку в карман. — Сегодня всего не обещаю: сначала ваш товар проверим, потом об оплате договоримся. Оплачу раньше того, кто вам сейчас сулит.

— Через час у подъезда, — скомандовала она, затем шмыгнула носом; прежняя злость из голоса ушла. — Какой дом?

— Коминтерна, 46. Второй подъезд, — продиктовал, счищая локтем испарину с перегородки.

В трубке запищали короткие гудки.

Повесил трубку и помедлил с выходом. Внутри было теплее, чем на улице, пахло окурками.

В девять ровно во двор въехала белая «Волга» ГАЗ-24. Фары резанули по сугробам, по доминошному столу, по первому этажу; мотор урчал у второго подъезда. В салоне различалась такая же светлая дублёнка.

Я дожидался у ступенек и запрокинул голову. На втором этаже, в кухонном окне, за тюлем маячила мать — силуэт с косой вокруг головы. Она следила за «Волгой». Потом силуэт исчез.

Меньше чем через шестьдесят секунд мама выталкивала мужа на улицу — в пальто, застёгнутом криво, на одну пуговицу мимо, в шапке и валенках. Напирала ему в спину, как загоняют упрямую корову в ворота.

— Иди, — гнала она, упираясь в лопатки мужа. — Иди глянь, с кем сын связался. Я не усну, Паша. Иди.

— Валя, я сказал... — Он дёрнулся в её хватке, пытаясь вывернуться из пальто.

— И что ты сказал? Иди и проверь, что за люди. Ты же мастер, ты всех насквозь видишь, а я тут извелась. — Она ухватила его за пальто сзади, расправила полу и застегнула ту пуговицу, мимо которой он попал.

Он вышел на крыльцо и замер: за баранкой «Волги» оказалась накрашенная женщина в дублёнке, с начёсом, в золоте — кольца блестели от приборной подсветки.

— К торговке в машину не сяду. — Он засунул кулаки в карманы, растопырил валенки и сдвинул шапку на затылок, будто собрался мериться с «Волгой» упрямством.

Это он не мне, а «Волге».

Я забрался спереди к Римме. Затем развернулся к дому, оставив ботинок на подножке.

— Ящики сосчитаешь сам, или я заберу их без тебя. — Отжал дверцу шире и подался наружу.

Римма изучала его поверх приборной доски, барабана по баранке.

— Павел Семёнович! — Она крутанула ручку на обивке и окликнула нашего упрямца через освободившийся проём. — Холодно. Захлопните за собой с той стороны, а то у меня печка не успевает.

— Водить умею, гражданка, — огрызнулся он, не двигаясь с места и оттесняя мех на затылок.

— Я вас не за баранку зову, а считать. — Она высунулась наружу и указала на свободную часть дивана. — Сын уверяет, с цифрами у вас порядок. Вот и примете груз.

Он сплюнул, спустился с крыльца и забрался сзади, хлопнув так, что кузов качнулся. Водительница поймала его отражение в зеркале.

— Семейный подряд, — заключила она и тронулась, поправляя зеркальце.

Мы ехали двадцать минут через тёмное Канавино. Улицы были пустые, фонари горели через один, на перекрёстках светофоры мигали жёлтым. Луна давно зашла; под низким чёрным небом сугробы по обочинам казались ярче редких огней. Она достала «Космос».

— Павел Семёнович, вы курите? — Она предложила сигареты пассажиру сзади, переноса пачку через верх переднего кресла.

— Нет. — Он отвернулся к обочине, задирая воротник.

— А я курю. Не возражаете? — Она вытряхнула сигарету из «Космоса» и зажала её губами.

— Машина ваша. — Он протёр рукавом запотевшее стекло и опёрся локтем об обивку.

— Вот именно, машина моя. — Она прикурила и выпустила дым наружу. — У вас сын, по-моему, умный мальчик.

— Мальчик ещё. — Он хмыкнул и откинулся назад. — Умный или нет, я на приёмке увижу.

— Увидите. — Она перехватила руль и нажала на газ.

Я следил за дорогой и думал, что в первой жизни в этой «Волге» впервые поехал с Риммой в девяносто втором, в марте, и отец уже месяц молчал в зале перед выключенным телевизором.

База у Сортировки начиналась с ворот: железные створки, сверху колючка, сторожевая будка, на столбе прожектор, выбеливший круг на промёрзшей земле. Дальше чередовались ramпы, рельсы, тупики; под снежными наносами угадывались крыши составов.

Римма остановилась перед въездом и заглушила мотор. К нам выбрался сторож в тулупе до пят, в валенках. Палка — слева, фонарь — справа; луч обшарил салон: сначала её лицо, потом моё, затем пассажира сзади.

— Ночью не отпускаем! — гаркнул он, ткнул палкой в воздух и направил луч нам в лица. — Утром приезжайте! С накладной!

Она не шевельнулась. С водительского места уставилась прямо на меня. Испытывала: ну давай, пацан, которому известен мой домашний номер и которому известно, кому обещаны мои запасы. Покажи, чего ты ещё стоишь.

Я выбрался наружу — мороз схватил за лицо — и подошёл к сторожу. Из-за борта извлёк пачку «Беломора», надорванную с утра, без пяти папирос, с двадцатью ровными гильзами, и предложил ему.

— Покури, дядя. Нам только количество сверить. Вывозить сегодня не будем. — Показал этикетку и тряхнул картонкой, чтобы папиросы осели ровнее.

— Ночью не положено, — буркнул служивый, однако перестал грозить палкой и упёр её концом в землю.

— Так мы только осмотрим. — Я указал подбородком на прожектор и качнулся к тупику. — Ни ящика не увезём. Ты пока спокойно покуришь.

Сторож прикинул вес гостинца, как прикидывают кусок мяса на рынке, и сунул за пазуху.

— Смотрите, — разрешил он, распахивая тулуп и извлекая папиросу. — Только без выгрузки. Закончили — сразу к выезду, не шляйтесь по территории.

И потащил вбок железную створку.

Я снова забрался в салон. Меня встретили приподнятой бровью. Всего на мгновение, и снова прежняя невозмутимость.

— Третий склад. — Она включила передачу, поправляя зеркало.

Тупик кончался земляным отвалом. Упёршись в него буфером, высился бурый крытый вагон с белыми цифрами на борту. На скобе задвижного щита висела свинцовая пломба на проволоке. Со стены склада прожектор бил прямо в обшивку.

Водительница покинула салон, достала из сумки связку ключей, выбрала один, плоский, и сковырнула им пломбу — проволока лопнула. Потом сама отодвинула тяжёлую створку; та поехала по направляющей с визгом. Изнутри пахло холодным картоном и мылом.

Павел Семёнович вылез следом, миновал нас обоих и выставил раскрытую пятерню к охраннику, освещавшему нам путь.

— Фонарь, — потребовал он, нетерпеливо щёлкнув пальцами.

Завладел без возражений, словно бригадир. Мастер полез внутрь, легко, по-молодому: коленом на пол, ухватился за край и осветил штабеля. Я остался внизу, возле буфера.

— Сгущёнка, — произнёс он изнутри, направляя луч на тару и простукивая костяшками верхнюю доску. Интонация стала другой, рабочей. — Бело-голубая, Рогачёв. Раз. Два... Ящики по 45 банок, это я знаю. Пять... шесть... Римма Павловна, кто грузил?

— Мои люди, — отозвалась она, звякнув связкой ключей.

— Ровно уложены. Редко у кого так ставят, чтобы под потолок и без перекоса. — Он перешёл к следующему штабелю, ощупал верхнюю доску и постучал по дереву костяшками.

— У меня на базе бардака нет, Павел Семёнович, — заверила она, подбираясь к проёму и вставая на цыпочки, чтобы лучше видеть.

— У вас нет. У других есть. — Он двигался вдоль штабелей, проверяя доски на звук, как проверял сварные швы: нет ли пустоты. Выудил одну банку из надорванной упаковки, повертел, осветил этикетку с коровой и пристроил на прежнее место. — Сорок... пятьдесят... восемьдесят...

— Сто... сто двадцать... сто сорок... Так. Там сахар, мешки, сорок... Это чай. Это что? Мыло. Тушёнка, Валя, говяжья... — Он нагнулся над говядиной и счистил иней с этикетки.

Он по привычке позвал жену, которая осталась дома у тюлевой занавески.

— Валя? — Он замер среди досок и картона, и луч пополз по штабелю вверх. — Тьфу ты.

— Ничего, — утешила она снизу, затачиваясь сигаретой и стряхивая пепел себе под ноги.

— Я так и сама иногда.

Он спрыгнул наружу, приземлился на утопанную колею и отряхнул колени.

Я ждал: сейчас согласится: «Ладно, Данила. Завтра снимем накопления».

— Книжка пустая, Данила, — отец увёл луч себе под валенки и признался тихо.

— Что? — переспросил я, придвинувшись к нему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.